

Михась Лыньков

Л.С.

Р32845



РАССКАЗЫ

ОГИЗ. ГОСЛИТИЗДАТ. 1944



*Михась Лыньков*

# Р А С С К А З Ы

(1942—1943)

*Авторизованный перевод  
с белорусского  
Евг. Моволькова*

*Государственное издательство  
художественной литературы  
1944*



## САЛЮТ

В низенькое подвальное окошко котельной каждое утро видел он, как собиралась в институт молодежь. Степенно шли парни, бежали, чтобы не опоздать, суетливые девчата. Всегда в одну и ту же минуту приходили преподаватели, профессора. И когда Алёшка замечал знакомый пёстрый платочек и жёлтый, расшитый узорами, полусубок, он будто невзначай появлялся в вестибюле в ту самую минуту, когда открывалась входная дверь, и, взглянув с тревогой на стенные часы, девушка сдержанно усмехалась:

— Вот хорошо, что не опоздала...

— Добрый день, Реня!— приветствовал он её.

— А, Алёшка! Добрый день, добрый день!

И она исчезала на лестнице. Даже ледяные узоры на окнах расцветали, казалось, и сверкали синими огоньками, как взгляд очей её, синих, глубоких. И всё вокруг становилось радостным и праздничным, как пёстрый платочек её с красными маками и васильками, с золотыми колосьями на голубом поле.

Они встречались на комсомольских собраниях. Она — студентка педагогического института, он — истопник. Когда комсомольцы узнали, что Алёшка готовится поступить в институт коммунального хозяйства, они сочувственно отнеслись к его планам, даже наладили шефство, поручив Рене по-

могать ему: никто лучше её не разбирался в коварных дебрях алгебры, в премудростях точных наук.

Вначале дело не клеилось. Реня всё не могла войти в роль педагога, а Алёшка чувствовал себя неловко в роли ученика. Ему куда удобней было подойти к Рене в качестве активиста и спросить о взносах, даже пожурить немного, а если нужно, то и напомнить о комсомольской дисциплине.

Но учёба налаживалась. Правда, иногда Алёшка слишком подолгу засматривался на её розовые уши, на каштановые завитки волос, на смешную родинку за ухом. Тогда точные науки утрачивали свою суровую стройность, — он отвечал невпопад, тихо мямлил явную несурязицу и, совсем запутавшись, замолкал.

Нахмутив лоб и прищутив левый глаз, она насмешливо передразнивала его:

— Опять стоп машина, приехали!.. Какой же ты бестолковый, паренёк!

Алёшка чувствовал, как горят его уши, как густая краска заливает лицо, подступает к жёстким белёсым вихрам, и они беспомощно топорщатся. Но девушка говорила уже тише и ласковей:

— Ну, хорошо! На сегодня хватит. Ещё раз повторишь к следующему разу...—И уже совсем тихо:— А ещё думает быть инженером...

Это было хуже, чем нож в сердце. Но у него хватало сил и настойчивости, чтобы ломать все преграды, делать все эти тайны точных наук своим прочным и вечным достоянием. Он заставлял себя как можно реже смотреть на коварную родинку: ещё заметит и засмеёт. От одного Алёшка не мог отказаться: каждое утро он по-прежнему встречал её с пожеланием доброго утра. Правда, над его точным, как ход часов, еже-

дневным появлением в вестибюле подсмеивались; девчата и хлопцы иногда спрашивали у Рени:

— Ну, как твой рыцарь?

Она весело усмехалась и, задорно тряхнув каштановыми волосами, говорила полусерьёзно, полушутливо:

— Рыцарь, как рыцарь... А вам что? Завидно?

Шёл июнь месяц. Закончились годовые зачёты в институте, студенты справляли прощальный вечер, со спектаклем, с танцами. Расходились из клуба, уже когда занималась утренняя заря. Мягкие розовые тени колыхались между серых каменных зданий и таяли, расплывались в густых клёновых аллеях, в зелёном мраке садов и палисадников. Светлели вдали крыши домов, прозрачно-зелёными становились вершины берёз в городском парке.

Алёшка провожал Реню домой. Он нёс самовар. Этот старинный неотъемлемый атрибут семейного благополучия необходим был по ходу пьесы, и его принесла Реня из дому, от тётки, у которой жила на квартире. Самовар занимал обе руки, мешал ходьбе и, самое главное, мешал думать, мешал говорить. А сказать Алёшка должен был о многом, о самом важном, о чём говорят обычно один раз в жизни. Реня смотрела на его нескладную фигуру, на руки, прижимавшие к груди самовар, на смешные ресницы — густые, белёсые, — и в уголках её губ блуждала, пряталась едва заметная усмешка. Алёшка говорил что-то о солнце. Она видела только, как блеснула яркой позолотой вершина ближнего клёна и юстрые листья беспокойно зашелестели, — подул лёгкий ветерок, развеяв зелёную дремоту развесистых лип и клёнов.

Алёшка говорил ещё что-то о скрытой энергии: он очень любил эту тему. От энергии он перешёл

к углю, к самому обычному каменному углю. Он называл разные сорта его, говорил об особенностях каждого из них, говорил, с каким углём любит работать в своей котельной. Они стояли уже возле калитки дома, где жила Реня. Алёшка торопился договорить:

— Я люблю...

— Ну, любишь... Антрацит любишь. Ты уже говорил...— не то серьёзно, не то шутя перебила его девушка.

Алёшка замаялся на минуту, потом поглядел прямо в её глаза и вдруг густо покраснел и, опустив ресницы, прошептал с упрёком:

— Тебя... тебя я люблю...

Ярко вспыхнули глаза девушки, в их тёплой и нежной синеве замелькали, запрыгали весёлые искры. Она засмеялась звонко-звонко, так что даже стены домов, казалось, посветлели и тёмные стёкла окон блеснули утренним золотом.

— Боже мой, какой ты чудной!— тихо сказала она.

Ещё трепетали от смеха ресницы, когда она вздохнула глубоко и вдруг порывисто обняла его, страстным поцелуем обожгла онемевшие губы, выхватила из рук самовар и исчезла за калиткой. Он слышал её частые, торопливые шаги по дорожке сада. Вот она и на крыльце, ищет дверную скобу. И, прежде чем открыть неподатливую дверь, она обернулась к нему, чуть слышно проговорила:

— До свидания, Лёша... До новой встречи!

— До новой встречи!

Алёшка стоял ошеломлённый, счастливый. Улыбнулся, когда взглянул на свои руки. Как они держали самовар, так и остались согнутыми, словно окаменели. Он шёл, и ему казалось, что всё улыбается, всё идёт навстречу: и утреннее

солнце, и приветливые клёны, и распахивающиеся окна, и птичьи голоса в кустах жасмина.

Он зашёл в парк, встал у обрыва, круто поднимавшегося над рекой. Далеко, далеко, на том берегу, клубился, таял под солнцем сизый туман. Едва уловимый запах луговых цветов и трав долетал оттуда. Вода у берега слегка курилась прозрачным паром. Крохотный буксирный пароходик, зарывшись носом в воду, пыхтел изо всех сил и старательно тащил тёмные громады барж. Стремительная волна бежала от него, захлёстывала берег, жадно лизала прибрежную гальку, песок. Ажурные мосты синели над водой. Сквозь чёткую вязь решётчатых ферм тянулся голубой дымок, куда-то бежал, торопясь, паровоз. На другом мосту грохотали телеги, бежали грузовики, виднелись пёстрые фигурки людей. „Сегодня базарный день“, — вспомнил он. И над всем городом, над рекой, над бескрайними просторами — яркое утреннее солнце.

Алёшка даже вздохнул от ощущения полноты жизни. Хорошо под солнцем, если ты всё можешь. Можешь быть истопником и угольщиком. Можешь строить эти дома и мосты, солнечные фабрики и заводы. Можешь даже стать инженером. И станешь.

Хорошо под солнцем, когда любишь и тебя любят...

Они встретились не скоро.

Прошло всего несколько дней, и страшный грохот войны разбудил город. Взлетали в воздух дома, рушились, превращались в развалины. То, что уцелело, пожирал жадный огонь. Двое суток подряд налетали чёрные ненасытные птицы. Двое суток подряд бушевали огненные вихри, превращая в дым и прах всё, что так любовно и старательно созидал человек.

Алёшка видел, как умирал его город, как в тёмной печали стояли обожжённые, немые сады, и искалеченные клёны склоняли до самой земли обгорелые ветки. А на земле — на улицах и площадях, среди руин сожжённых домов — лежали изуродованные люди: мёртвые и умирающие. Среди них много детей. Это было самое страшное. Всё так же ярко светило солнце над ними. А они отвернулись от него, приникли печальными личиками к праху, к серому пеплу пожара.

Словно раскалённое железо прикасалось к живому сердцу, такой горячей, неугасающей болью было охвачено оно.

Несколько дней шёл жестокий бой на подступах к городу, Алёшка дрался в истребительном отряде. И когда надо было отступать, когда отряд отходил за реку по зыбкому бревенчатому мостику, его вдруг отвели в сторону и тихо сказали, что он должен остаться в городе. Требуется выполнить одно важное задание. Взглянув на уходивших товарищей — они уже были на том берегу, — он молча вздохнул, согласился. Только запротестовал, когда у него забрали винтовку, — как же ему теперь быть без оружия? К нему подошёл пожилой рабочий, весь обросший седой щетиной, с густыми, насупленными бровями. Он мягко положил ему на плечи свои широкие ладони. И как-то сразу стало теплее на сердце у Алёшки — обветренная кожа рук этого человека была изъедена угольной пылью.

— Вот что, паренёк, винтовка тебе пока без надобности, с нею и убить тебя могут. А есть у нас ещё одно оружие, и оно бывает иногда сильнее пули... И этого оружия у нас хватит..

Алёшка знал, о каком оружии говорил этот старый человек.

— Как вас звать? — нерешительно спросил он.

— А зови хотя бы... ну... дядя Пётр...— и тёплая улыбка шевельнула густую щетину щёк, пожелтевшие, прокуренные усы.

Уже стемнело, когда вошли они в город. Дядя Пётр направился на угольный склад в депо, Алёшка пошёл на окраину, к уцелевшему зданию института.

На другой день пришли немцы. На окраине поселились солдаты, комендант со своим штабом разместился в институте. Сначала гитлеровцы взялись было всерьёз за Алёшку — кто да откуда. Однако такой нелепый вид был у этого парня с белёсыми вихрами, с нескладными руками, с придурковатой улыбкой, что его оставили в покое. А тут ещё наступили холода. Алёшке приказали отапливать котельную, в помощь дали двоих солдат. Те предпочитали отлёживаться на нарах в его тесной комнатке, играть в карты, а парень возился с железной лопатой, подбрасывая в пылавшую топку уголь, шуровал колосники и всё улыбался. Даже наблюдая в низенькое окошко вместе с солдатами, как гонят по площади вереницы арестованных, — их ежедневно приводили в комендатуру, оттуда в тюрьму, под которую приспособили громадное здание недалеко от института, — парень то и дело улыбался. И он чувствовал, как этот смех, словно железная маска, застыл на его лице.

Дни тянулись один за другим, нудные, мучительные. Каждый день был суровым испытанием. Алёшка был на побегушках у немцев: разыскивал стекольщиков, водопроводчиков, нужно было исправить одно, починить другое. Люди избегали смотреть ему в глаза. И, уходя от рабочих, он ощущал на своей спине холодные, насквозь пронизывающие враждебные взгляды. Он знал: приди к ним ночью, и эти взгляды могут превратиться

в горячую свинцовую пулю. Слышал он однажды, как чей-то голос глухо крикнул ему из-за забора:

— За сколько проданся, собака?

Его ненавидели, его боялись.

Он понимал это и избегал слишком часто, без неотложной нужды появляться в городе, чтобы не пугать людей своим видом. Разве объяснишь им, разве им скажешь обо всём?..

Его позвали однажды к коменданту. Часовые давно привыкли к его неуклюжей фигуре, к его придурковатой улыбке, как привыкают к домашней вещи, как привыкает солдат к своему котелку, к своей обгрызанной ложке. Он шёл и гадал: по какому делу его призывает начальство. Обычно ему через солдат передавали распоряжения — вставить стекло, позвать полотёра, найти кузнеца, чтоб сделать решётки на окна, — комендант боялся оставаться на ночь в комнате с обыкновенными окнами.

Алёшка тихо вошёл в кабинет коменданта. Тут царил полумрак, и только широкий стол, заваленный бумагами, был ярко освещён солнцем. За ним вырисовывалась склонившаяся над бумагами лысина коменданта.

— Что прикажете, господин комендант? — тихо проговорил Алёшка.

Оловянные глаза коменданта презрительно прошлись по алёшкиной фигуре, он усталым жестом показал куда-то в сторону:

— Вот, посмотри, мне бы хотелось дознаться, кто она... Может, знаешь...

Комендант обходился без переводчика — он довольно свободно говорил по-русски. Алёшка посмотрел в сторону завешенного шторой окна. И вдруг ноги его сделались словно чугунными, словно приросли к скользкому паркету. Всё в нём встрепенулось так больно, что он инстин-

ктивно прижал к боку локоть левой руки, чтоб задержать, не дать выскочить из тесной клетки неугомонному сердцу, которое не может сразу замолчать, окаменеть, если даже и захочешь того.

На кресле под шторой Алёшка увидел жёлтый полушубок с вышитыми узорами. Освоившись с полумраком, глаза его разглядели каштановые волосы. Лица не было видно. Уронив голову на грудь, девушка силилась поправить подбородком разорванную на груди блузку, руки были закручены назад и связаны. Наконец она взглянула исподлобья, вздрогнула и испуганно отшатнулась назад, к чёрной шторе. Её синие, такие близкие прежде глаза пронзили его лютой ненавистью. Что-то шептали её губы, и ему казалось, будто слышит он эти слова, слова об изменниках, о предателях. С уголка запёкшихся губ стекала на подбородок тоненькая струйка крови, зловеще поблёскивая в полумраке.

Всё это продолжалось одну-две секунды. Собрав всю свою волю, делая нечеловеческие усилия — даже тёмные круги пошли перед глазами, — Алёшка натянул на лицо бессмысленную улыбку.

Комендант, оторвавшись от бумаг, коротко спросил:

— Ну, что? Знаешь?

Алёшка взглянул на неё, безразлично ответил:

— Нет, я не встречал этой девушки, не знаю...

— Она, говорит, училась в институте. Ты же был истопником.

— Их много училось, господин комендант. Откуда мне знать их всех?

— Ещё бы, — буркнул комендант, иронически оглядев фигуру Алёшки. — Ну, иди.

С трудом отрывая ноги от паркета, Алёшка вышел из комнаты. Он успел уловить её взгляд. В синих глазах было прежнее тепло, как и раньше,

давным-давно. Ах, как давно это было! Её выпустят сегодня, обязательно выпустят, они ничего не сделают ей плохого, они не посмеют, они не имеют права. Эта мысль согревала его, возвращала к жизни. Но здесь же вспомнились детские личики, те, что лежали в пыли, отвернувшись от солнца... В чём была их вина?

Спустившись в котельную, он, обессиленный, лёг на кровать и долго лежал без движения, без мыслей. Всё было давно передумано. Всё было пусто. Впереди не было, казалось, никакого просвета, словно проклятая долгая ночь опустила на него холодные серые крылья и душила его, душила, обессиливая мозг, умерщвляя сердце. Откуда-то издалека блеснули синие искры глаз.

Машинально он вставал, машинально брался за железную лопату и подбрасывал уголь в топку, машинально лёг и вскоре уснул. А проснувшись, по старой привычке взглянул в окошко,— и вдруг схватился руками за голову, больно стукнулся лбом о холодный цемент подоконника и, отшатнувшись, что-то зашептал побелевшими, пересохшими губами.

Долго стоял он, боясь взглянуть снова в это проклятое отныне окошко. Не чувствуя под собой ног, прошёл в свою конурку, потянулся к висевшей на гвоздике возле зеркальца промасленной кепке. Машинально заглянул в зеркальце и не узнал своего лица. На него глядели сухие, глубоко запавшие глаза, лицо было в глубоких морщинах. Взяв кепку, он тихо выбрался из котельной и через двор вышел на улицу.

Когда дядя Пётр увидел его на угольном складе, он слегка удивился и даже встревожился.

— Ты зачем?

Алёшка схватил его за руки, больно сжал пальцы и, припав к плечу старика, заговорил,

словно упрасивая о чём-то, словно в чём-то оправдываясь:

— Я не могу, дядя Пётр... Вы понимаете, я не могу!—И быстро-быстро:— Вы убейте, вы застрелите меня, что хотите делайте, но я... Там...— Алёшка провёл ладонью по своей щеке,— там... повесили...

— Знаю. Молчи, не надо об этом...— перебил его старик и мягко обнял за плечи.

Алёшка всё говорил, но в голосе его появились уже новые нотки:

— Я их пушу в воздух... Сам погибну, но я их...

— Ты этого не сделаешь, паренёк. Смысла никакого в этом нет сейчас. Потерпи ещё, милый. Потерпи. Вот подойдёт час, тогда и сделаешь... Ну иди, а то ещё хватятся...

И Алёшка послушно вышел.

Приближалась великая Октябрьская годовщина. Когда Алёшка приехал за углём к дяде Петру, тот прямо сказал ему:

— Ну, Алёшка, завтра действуй. Ночью. Смотри только, чтобы самому уцелеть.

Быстро оглянувшись по сторонам, он поцеловал его в обе щеки, сунул в руки газетку:

— Прощай. Дома считаешь, тебе виднее будет. Читай и не бойся, это ихняя газетка...

Словно лёгкие крылья выросли за плечами у Алёшки. Словно вновь вернулась былая радость, былые думы. Он внимательно прочитал газетку. В ней не было ничего нового. Всё та же старая ругань, старая брехня. Немцы собирались брать Москву. Даже день назначили—6 ноября, канун великой годовщины. Тут же и объявление, что господин комендант приглашает на ужин господ

офицеров, по случаю падения советской столицы.

Сурово нахмурились алёшкины брови:

— Москвы им захотелось! Что же, мы покажем им Москву!..

Проснувшись на следующее утро, он никак не мог совладать со своим нетерпением. День тянулся медленно-медленно. Едва дождавшись ранних сумерек, Алёшка нажал на раму низкого окошка. Полуистлевшая рама сразу подалась, её легко можно было вынуть. Украдкой осмотрел концы оборванной проводки. Тут было много лампочек, их снимали вместе с патронами, но проводка осталась.

Приникнув лбом к холодному стеклу окна, он внимательно вглядывался в темноту. К комендатуре одна за другой съезжались машины. Свет фар вырывал из темени чёрные силуэты на перекладине. Алёшка прижмурил на секунду глаза, прислушался к лёгким шагам на тротуаре, к скрипу парадной двери. Прошло с полчаса, дверь перестала скрипеть, погасли фары на площади. Алёшка подбрасывал уголь в топку и жадно ловил ухом каждый стук, каждый шорох. Скоро послышались приглушённые звуки музыки.

Алёшка осмотрел дверь. У входа, на чёрной лестнице, стояли часовые, задрав головы вверх, они упивались бравурным, воинственным маршем. Алёшка медленно подошёл к крану, старательно вымыл руки, лицо, аккуратно повесил полотенце на гвоздь. Быстро переоделся. Внимательным взором окинул родные, до последней мелочи знакомые уголки котельной.

Домовито шипел пар, потрескивал уголь в топке, в подвале сгущалась глухая, отстоявшаяся тишина. Юноша глубоко вздохнул и обрезал ножницами концы трёх шнуров. Задрожали руки,

и сердце забилося быстро-быстро, когда тусклый огонёк спички облизал поочередно каждый из шнуров. Быстро замелькали розовые, едва заметные огоньки, забрызгали мелкими-мелкими искрами.

Быстрыми шагами Алёшка подошёл к окошку, вынул раму, прислушался. Шаги часового медленно отдалялись, затихали. В одну секунду Алёшка был на улице и побежал вдоль тротуара, чтобы мягкая земля заглушала топот ног.

Вот и разрушенная улица, развалины сожжённых домов.

Земля и небо раскололись вдруг, и ему показалось, что ничего больше не будет, ничего не останется на свете. Юркнув в подъезд полуразрушенного дома, он переждал, пока падали на мостовую тяжёлые кирпичи, железные балки, огромные камни. Чудовищное зарево поднялось над площадью, над улицей. В его трепетном свете, словно нелепые видения, качались обожжённые трубы печей, почернелые, мёртвые деревья.

Придя на угольный склад, он упал на кучу антрацита и, обессиленный от всего виденного, от всего пережитого, глухо заплакал. Он плакал, как беспомощный ребёнок, не стыдясь своих слёз, своих стонов. На его плечо опустилась рука дяди Петра.

— Встань, паренёк!

Он встал и, обняв этого человека, всё говорил и говорил:

— Почему я не задушил его раньше, своими руками?.. Я мог убить этого выродка.. Тогда не было бы этих страшных столбов... Вы не знаете, дядя Пётр, как я... как я любил её...—И глухие рыдания снова сотрясали его плечи, его голова беспомощно билась на груди старика.

— Кого, мой мальчик?

— Её... Реню...

Слегка вздрогнул старика. Он мягко высвободил руку, ~~мелко~~ провёл его по своему суровому лицу, тихо погладил податливую голову юноши и, глядя куда-то вдаль, сказал глухо, взволнованно:

— Это хорошо, очень хорошо, сынок,— так назвал он его впервые,— что ты любил её... Она достойна любви, но я... может, я любил её ещё больше... Дочь она моя... единственное дитя мое.

Алёшка жадно ловил каждое слово старика, и ему казалось, будто опускается на него какая-то незнакомая, неведомая ещё радость, радость близости к людям, радость кровного родства. И вместе с тем ему мучительно стыдно было перед ним, перед стойкостью этого человека за свою слабость, за слёзы.

— Простите, дядя Пётр... простите...

Нетерпеливо прислушиваясь, словно в ожидании какого-то события, старик сдержанно ответил:

— Слёз своих не стыдись: они идут от сердца...

Один за другим раздались глухие раскаты взрывов. Ещё и ещё... В разных концах города вспыхнули новые зарева. Совсем близко, на товарной станции, с грохотом и скрежетом взвился сумасшедший фейерверк, разбрасывая во все стороны гремучие молнии, целые каскады пламени.

Взорвался эшелон со снарядами. Стонала и дрожала земля.

— Что это?— спросил недоуменно Алёшка.

— Это? Ты же начал это сегодня... Это салют революции, сынок, салют Октябрю. Живы мы, и город наш жив, он не умер!

Светлело небо над городом. Встревоженные птицы взвились в воздух. Багровые от зарева,

они казались сказочными красными маками, вдруг расцветшими над развалинами.

— Пойдём, сынок!

И они исчезли, растворились в глубине городских переулков.

Город жил, не сдавался.

## ПОЦЕЛУЙ

Было похоже на оттепель. Снег под ногами не скрипел, и серый дым низко стлался над огородами, клочьями повисал на почерневших сучьях вишен и яблонь. И дым сегодня какой-то кислый. Озабоченно наморщив лоб, маленькая Вулька подумала:

„Опять старухи осиновые жерди палят... Как ушли все тяти в лес, так и дров хороших не стало... А жерди из забора палить не годится: весной в нём щели будут... Да и тепла от осины мало... „Только бы тлелось в печке чуть-чуть“, — бабка так говорит. Плохо всё же без тятеньки...“

На кусте смородины весело зашебетала вертлявая синица. Она проворно перескакивала с ветки на ветку. Её синяя грудка мелькала то тут, то там. У Вульки даже глазёнки загорелись, она осторожно поставила чугунок на снег и медленно, шаг за шагом, стала подкрадываться к кусту, неловко растопырив ручонки. Её губы шептали:

— Синичка моя... Пташечка... Дай я тебя поймаю...

Но не тут-то было! Вертлявая синичка вспорхнула, и — нет её. Только синее пёрышко, малюсенькое, прямо как пушинка, прилипло к ветке.

Вулька положила его на ладонь, подула,— и оно взлетело, как снежинка, пропало из глаз.

Снег падал густыми, пушистыми хлопьями. Упадёт на щеку и сразу тает, расплывается щекочущим холодком. Вулька вспомнила про бабушку: ещё рассердится— и быстро взялась за чугунок. Тяжело нести его в одной руке, больно врезается в пальцы тряпка, в которую он завязан. Нужно то и дело менять руку. Вот и перелезла через плетень. Каждый колышек в нём накрыт такой красивой, пушистой шапкой из снега,— ну, как не смахнуть рукой? Один взмах— и шапка разлетается лёгким пухом; сожмёшь в кулачке этот пух,— и какой смешной получается комочек: на нём следы пальцев. Сунешь в рот, а снег кусачий-кусачий, даже зубы немеют. И пальцы делаются красными, как гусиные лапки. Но зато над чугуном они быстро согреваются.

Только перелезла Вулька через плетень и начала снимать чугунок с перелеза, как над самой головой услышала знакомый голос:

— Что это ты несёшь, деточка?

Чугунок едва не выпал из рук, и Вулька зашептала под нос быстро, быстро:

— Бабка велела... Бабка велела...

А что велела бабка, сразу и не припомнишь, если стоит перед тобой этот дядька Касмыль. Хоть и сосед он, но его почему-то сильно недолюбливала бабка и не раз говорила, что у этого человека сердце клочьями шерсти— касмылями— обросло. Что это за касмыли такие, Вулька толком не знала, но, видать, очень страшные. Ах, вот и вспомнила:

— Бабка велела золу из хаты вынести...

— Так зачем же ты так далеко относишь её?

— Бабка велела, чтобы угольки не рассыпала и чтобы не попали куда-нибудь в солому, да

не наделать бы пожару, не да-а-ай-то, боже! — и, сделав страшные глаза, Вулька смело взглянула на дядьку.

И как же они с бабкой боятся пожара! Бабка всегда говорит про пожары: „Не да-а-ай, боже!“ Вулька ещё раз взглянула в лицо дядьке Касмылю и, заметив, что тот не сердится, опрокинула чугунок и, обжигая ладони, выгребла из него угли и золу.

— Я, дяденька, каждый уголёк ногой затопчу, только вы не серчайте,— и она старательно за-таптывала угли ногами, прислушиваясь, как они шипели, как тоненькие струйки пара вырывались из-под ног и пропадали.

— Ты смотри, деточка, валенки не сожги!

— Они у меня кожей подшиты! — похвасталась Вулька, смело поднимая и показывая пятку валенка.

— Хитрая ты девчо́нка, Вулька!

Дядька Касмыль, усмехнувшись, снова зашагал своей дорогой, через огород, по вытоптанной в снегу тропинке; вот он повернул на свой двор.

Вулька постояла с минуту, грустно поглядела, как погасли все угли, завязала в тряпку тёплый ещё чугунок и скорее побежала домой, думая о том, что же ей теперь сказать дома. Ну, и неугомонная эта бабка! Три дня подряд выносила золу и угли из хаты. Где это видано, чтобы так часто золу выносить — хату студить... А сегодня бабку погна́ли немцы в обоз возить солому. Только и успела она насыпать в чугунок угольков и незаметно шепнула Вульке:

— Ты будь разумницей, когда я уеду, отнеси чугунок на гумно... Поставь на току, да подальше от сена, чтоб пожару не было, не да-а-ай то, боже! А сама быстренько беги назад, стереги хату...

— Зачем угли носить на гумно?— звонко переспросила Вулька.

Бабка даже руками замахала на неё:

— Тише, тише ты! После я тебе всё расскажу, разумница. А теперь делай, как я велела. Встретится тебе кто, когда будешь нести, так ты просто высыпь угли в снег...

Вот она и сделала, как приказала ей бабка, хитрая бабка-хлопотунья...

Аксинья вернулась поздно вечером. Прямо с порога она подошла к печке и тихонько разбудила внучку:

— Вулька, Вулька, вставай! Ужинать будем!

Вулька спустила ноги с печи и быстро рассказала обо всём: и как несла она чугунок, и как встретился ей дядька Касмыль, и как втаптывала она уголья в снег.

— Ещё синицу видела я... синяя-пресиняя, сладко вздохнула Вулька.

— Синицу?— задумчиво повторила Аксинья и, чувствуя, как у неё похолодело вдруг сердце, решительно затянула концы платочка и пошла к двери.

— Куда ты, бабка? Я боюсь одна вечером.

— А ты ложись с головой под дерюжку. Я собираю хворосту... Печь затопим... Я скоро...

И двор, и огороды, и молчаливые тёмные деревья— всё потонуло в густом вечернем мраке. Падал редкий снег. Подмораживало. Где-то залаяла собака и вдруг, взвизгнув, смолкла. Вокруг стояла серая, слепая тишина. Только со стороны школы— там стояли немцы— еле слышно скулила скрипка, и глухо ныла гармоника. Да, в лесу, что за горелым болотом, подвывали волки. И на мгновенье показалось Аксинье, будто

видит она, как на сумрачной полянке стоят серые волки и, задрвав головы, вглядываются в тёмное небо, и в их голодных глазах мерцают, переливаются печальные отблески далёких звёзд. Далёких и недосягаемых. Может быть, оттого и песня такая тоскливая у них, у волков.

Ах, тяжело на сердце, и словно пелена какая-то упала на глаза — ничего не видать!

Аксинья ощупью отыскала ворота гумна, осторожно открыла их, подошла к овину, прислушалась.

— Сынок! — тихо позвала она. — Сыночек!

Пригнувшись, она вошла в овин и, став на колени, обшарила там каждый уголок, ощупала рукой кирпичную печку, сухие жерди, с которых осыпалась мякина. Пахло ржаными колосьями и мышами. Она обошла всё гумно, ощупала даже груды овсяной соломы возле овина. Стоя посреди гумна, снова жадно вслушивалась в ночную темень, силясь уловить, услышать живое человеческое дыхание.

— Отзовись же, сынок мой!

Но вокруг было тихо, так тихо, что слышно было, как шуршали снежинки на соломенной крыше.

Аксинья подумала, что заблудилась, — таким долгим показался ей обратный путь. Однако вокруг были всё те же, посаженные ещё её покойным мужем, яблони и вишни, та же бревенчатая ограда. В голове роились обрывки мыслей, и их трудно было уgomонить. Зачем доверила она это дело неразумному дитяти? А как же было сделать иначе? Чтобы замёрз? Правда, можно было попросить кого-нибудь из взрослых. Но разве доверишь чужим людям такое?

Когда во дворе её схватили за плечи чьи-то гру-

бые руки, она не удивилась и не испугалась. Только спросила:

— Чего вы хотите от меня, добрые люди?

Ей ничего не ответили, увели со двора, повели по улице. Тускло поблёскивали серые штыки винтовок.

„Видно, к коменданту, а может, и к старосте...“

Она представила себе старосту — его реденькую, куделькой, бородёнку и вечную ухмылку на нездоровом, зеленоватом лице. Каждый раз, как усмехнётся и глянет на тебя, словно десять кирпичей лягут на сердце. Такая уж усмешка у Сидора Лупянка или, как звали его за глаза, Касмыля, Космача.

Но солдаты миновали хату соседа.

„Значит, к коменданту...“

Её вели к школе.

За дощатой перегородкой играла гармоника, и хриплые солдатские голоса негромко выводили какую-то песню. Двое часовых переминались с ноги на ногу и неестественно вытягивались в струнку, когда комендант — немолодой, но и не старый ещё офицер в лейтенантском мундире, — поглядывал на них или упоминал, говоря по телефону, чин господина полковника. Комендант был чем-то взволнован, часто становился на вытяжку с телефонной трубкой возле уха, раз даже попытался отдать честь свободной рукой, но спохватился во-время и всё повторял одну и ту же фразу:

— Слушаю, господин полковник! Есть, господин полковник!

Наконец он положил трубку и принялся ходить из угла в угол. Остановившись против

Василя, искоса взглянул на него, нетерпеливо кусая кончик сигары. Горячие, как угли, глядели на коменданта немигающие, глубоко запавшие глаза. Густые русые брови сходились над переносицей, по лбу пробегали глубокие тонкие морщины. Хмурый, упрямый взгляд приводил коменданта в бешенство. Однако, сдерживая себя, он заговорил тихо, спокойно:

— Жалко, конечно, что не мне придётся допрашивать тебя. Ты бы заговорил у меня, ты бы у меня стал шёлковым... Ну, хорошо... Ты должен помнить одно: полковник — человек серьёзный... Разговор с тобой будет короткий... Одно можно тебе посоветовать: говори только правду. Без лишних фокусов. Никакая опасность грозить тебе тогда не будет. Имей в виду только — мы всё знаем. Тебя зовут Василь, комсомолец. Может быть, скажешь, это не ты взорвал мост? Ты взорвал. Да, да. Вот и шнур. Может быть, скажешь, что не твой? И брат есть у тебя старший, Андрей. Ты скажешь, где он теперь находится. Он же командиром там у вас. И, конечно, мать, Аксинья... Вот видишь, а ты думаешь, мы ничего не знаем. Играть в молчанку, тем более перед господином полковником, совершенно бесполезно.

Он долго ещё говорил. Но слова его проходили мимо сознания Василя, вызывая только какие-то неясные мысли и обрывки воспоминаний, неясные образы пережитого, передуманного. Да, он взорвал мост. Это его шнур... Проклятый шнур, пришлось его заменить другим, покорооче. Потому он и не успел отойти подальше. Осколком металла перебило ему плечо, сильно ударило в грудь. Сколько времени пролежал он там, на мокром снегу? Он помнит только, как, взглянув в тёмное ночное небо, увидел отблески холодного трепетного света: возле железнодорож-

ной линии пускали ракеты, искали кого-то. Снег падал густыми, частыми хлопьями. Пересиливая острую боль, он встал и пошёл через молодой дубовый лесок, а вскоре его поглотил густой, высокий бор. Только на рассвете Василь дополз до околицы родной деревни. Ему не нужно было туда идти, но он замерзал, совсем обледенело плечо. Вот и гумно. Тёмный, холодный овин, охапка соломы, забытьё, испуганные глаза матери... И радость, и страх на родном, дорогом лице: „Сынок мой, сыночек... Тебе ли, молодому, так рано искать лютой смерти?..“

Жгучая боль обожгла всё его тело. Подхватив под руки, часовые поставили Василя на ноги. В комнате стало шумно. Несколько офицеров снимали с себя шинели. За столом уже сидел полковник, и озабоченный комендант докладывал ему о чём-то. Чашка горячего кофе дымилась перед полковником. Не глядя на коменданта, он выслушивал рапорт, изредка перебивая его отрывистыми вопросами. Тогда шевелился синеватый шрам на лице полковника и его правое веко подёргивалось. Полковник поглаживал веко длинными пальцами, и чёрный перстень тускло поблёскивал при свете керосиновой лампочки.

Василь увидел перстень и вспомнил, как осенью в соседнем селе этот человек топил людей в болоте. Среди них были дети. Это был сам командир кавалерийского эсэсовского полка, или, как прозвали его партизаны, „чёрный полковник“.

Мысли Василя прервала команда. Часовые отступили назад, к стенке. Начался допрос. Кто? Откуда? Зачем взрывал мост? Где штаб отряда?

Какие же они все одинаковые! Вот возьми и выложи, где штаб... Брата проводи на виселицу. Собственными руками задуши мать родную... Ро-

дину затопчи в грязь, стань на грудь ей сапогом предателя...

Василь стоял молча, не проронив ни звука. Чёрный перстень мерцал перед глазами и менял свой цвет, делался серым, покрываясь испариной. Полковник уже кричал, взбешённый, разъярённый:

— На колени, бандит!

Один из офицеров выхватил у часового винтовку, наотмашь ударил прикладом по коленям связанного. Тот глухо застонал, и у часового мелко-мелко задрожали руки. Василь упал на пол, замолчал. В комнату ввели Аксинью.

Солдат выплеснул на Василя ведро воды. И когда тот зашевелился, солдаты вышли по команде за дверь. Полковник ждал. Василь заметил Аксинью. Его мокрое лицо согрела еле заметная улыбка:

— Иди домой, мама, тебе не надо видеть их... нельзя тебе здесь...

Заметив часовых, стоявших возле матери, он виновато сказал ей:

— Прости, родная, что из-за меня...

— А-а!.. Заговорил, господин партизан!..— оживился полковник.— Ну что же, давно бы так... Может, что-нибудь толковое скажешь?

— Скажу,— сухо прошептал Василь и приподнял голову.

Это стоило ему мучительных усилий. Он глядел на полковника странным, просветлённым взглядом. Капли воды скатывались с мокрых волос, падали на щёки, на пересохшие, спёкшиеся губы. Лицо Василя сделалось суровым, строгим:

— Я скажу вам... Горе вам будет... Смерть вам будет... Чёрная, поганая смерть... Я жалею, что не мне придётся добивать вас, но вам не уйти живыми с моей земли, и гнить вы будете,

как придорожные черви, потому что наша земля не захочет принять вас, собак...

Полковник медленно привстал с кресла и, упершись руками в стол, перегнулся через него к лицу Василя. Кожа на суставах его стиснутых пальцев натянулась, побелела, в извилинах синего шрама проступила живая краска. Голос полковника срывался, хрипел:

— С кем говоришь?! Ты!

— С собакой. Нет, хуже собак вы! Убиваете малых детей, вы храбрые с безоружными... Ну, ну, не ершись! Я же не могу сейчас ответить тебе пулей на пулю.

И, собрав последние силы, Василь плюнул полковнику прямо в глаза.

Сухо защёлкали выстрелы. Весь парабеллум разрядил полковник. Затем, обернувшись к Аксинье, налившимися кровью глазами взглянул ещё раз на пистолет и резко бросил:

— Повесить её!

Солдаты вынесли тело Василя, вывели Аксинью и стали торопливо поливать водой и мыть пол, неуклюже увёртываясь от сапог полковника. Полковник в ярости ходил из угла в угол, прямо по лужицам. Офицеры стояли навтыжку.

Потом он заговорил, и голос его стал спокойней, мягче:

— Вот что, господин комендант, мы должны их так напугать, чтобы у них навсегда волосы встали дыбом... Какая неслыханная наглость!

— Именно так, господин полковник...— поддакивал успокоенный комендант.

Аксинью казнили утром. Её повесили на старом дубе, возле школы. На площадь согнали всю деревню. Долго о чём-то допытывались немцы у

Аксиньи. Она стояла на столике, вынесенном немцами из школы. На жёлтой доске явственно виделось чернильное пятно, очень похожее на след детской ладони. Аксинье вдруг захотелось увидеть тёплую детскую ладошку, оставившую след на столе. Это было, видно, ещё до войны, прошлой зимой. Тогда в школе звенели детские голоса, и весной под этим дубом детские ручки ловили мяч...

Тихий ветер шевелил волосы на непокрытой голове Аксиньи, мелкие снежинки трепетали на её бровях, а она всё кланялась народу и едва слышно говорила:

— Вы не бойтесь, добрые люди... Вы не бойтесь, что они меня вешают: они же боятся меня, они вас боятся...

Из толпы донеслось тихое всхлипывание, и чей-то громкий голос прорезал тишину:

— Душегубы! Придёт и на вас гибель!

По команде расвирепевшего полковника стали разгонять людей, которых только что усердно сгоняли сюда. Староста с испуганным видом уговаривал женщин:

— Бабоньки, отойдите... Разве годится глядеть на это!

Ещё раз обратились к Аксинье, чтобы сказала она, кто же из односельчан, кроме неё, знает о партизанах. Аксинья задумалась на минуту, будто вспоминала что-то. Всё прожитое прошло в один миг перед глазами отчётливо, ясно, как вот это снежное утро, как след детской ручки на школьном столе. Когда-то были такие ручки и у Андрея, и у Василя... Замучили Василя. Она взглянула ещё раз на улицу, на толпу, остановила свой взгляд на Касмыле, который старался держаться в сторонке, незаметно. Его реденькая, куделькой, бородка моталась из сто-

роны в сторону, разведалась на ветру. Спокойно и тихо проговорила Аксинья:

— Вы вот всё у меня спрашиваете, а я вам ничего не скажу. Если бы и знала, всё равно не сказала бы. Вот он,— Аксинья указала на Касмыля,— он всё знает. Всё знает, до ниточки. Он знает...

Изо всей силы ударил полковник тяжёлой нагайкой по голове Касмыля. Тот повалился на землю и, ползая на коленях, начал причитать на всю улицу:

— Господин полковник, за что же вы меня?.. Господин комендант, да объясните ему!

Комендант шепнул что-то на ухо полковнику и, подняв на ноги старосту, сказал:

— Это ничего... Маленькое недоразумение.

Полковник, даже не взглянув на растерянного, обескураженного Касмыля, молча махнул рукой, чтоб кончали всё это дело. Не таких результатов ждал он от этой виселицы, от этой казни. Куда приятнее, если человек ползает перед тобой в пыли, молит о пощаде. Чувствуешь себя тогда богом. Ещё бы! В твоих руках жизнь и смерть подобных тебе, а здесь... странные, нелепые люди. Один идёт на смерть напролом, сам подгоняет твою безжалостную пулю... Фанатики. Другая умирает, словно радуется чему-то... Умирает и не глядит на тебя, не хочет замечать тебя, словно ты пылинка, словно ты полное ничтожество, недостойное даже проклятья... Всё это непонятно, это даже страшно.

Приказав солдатам поджечь партизанскую хату, полковник молча сел на коня и, даже не простившись с комендантом, выехал со своим эскадронам из села. Угрюмый, молчаливый, ехал он впереди эскадрона и, выехав за село, пустил коня бешеным галопом, чтобы рассеять ненужные мысли.

Возле пожара суетился Касмыль. Он очень боялся, чтобы огонь не перебросился на его усадьбу, выгнал целую толпу женщин, и те, окружив хату, растаскивали плетень, ломали поветь, чтобы не дать воли огню. Когда снопы искр посыпались с оседавшей крыши, из сеней выкатился охваченный пламенем клубок. Женщины, которые были поближе, с ужасом подхватили его на руки, потушили снегом, платками. Закутав в тулуп, одна женщина понесла его подальше от пожара и всё приговаривала тихонько:

— Боже мой, боже... Что же ты, Вулька, не отозвалась, мы ведь звали тебя и через окно и через сени!..

— Я боялась... Бабка, как ушла, так и не вернулась. Я всю ночь проплакала. Потом приходили немцы, я спряталась на чердаке. А потом, тётенька, пожар... Я очень боялась дядьки Касмыля, может это от угольков пожар... Но ведь бабка не топила вчера печь.. А мне больно, очень больно. У меня всё болит.

Женщина торопилась изо всех сил, спешила донести домой обгоревшее, тихо стонавшее дитя.

Касмыля дважды вызывали к коменданту. Это были всё мелкие дела: сено, солома, расчистка дорог от снега. О партизанах ни разу не упоминалось, но Касмыль чувствовал, что ими заняты все помыслы коменданта.

— Смотри, чтоб её не снимали. Это для острастки...

Касмыль не переспрашивал, он знал, о чём тот говорит. В глубине души он был не очень доволен комендантом. Сколько надавал ему разных обещаний, и вот она, награда,—удар плетью!

Зрелище потухшего пожарища, мимо которого проходил Касмыль, быстро развеяло его невесёлые мысли. Он даже остановился на минуту, разглядывая сиротливо торчавшую трубу, на которую ветер бросал целыми пригоршнями сухой, колючий снег. Побелевший и расплавившийся от жара чугунок выглядывал из тёмной пасти печи, такой нелепой теперь, утратившей всю теплоту человеческого очага, всю прелесть скромного крестьянского жилья.

Касмыль вздохнул и выдавил на лице какое-то подобие улыбки:

— Так вот как, Андрей Иванович. Выходит, не ты меня подсадил, а я тебя подсадил. Может быть, и до тебя самого ещё доберусь, отблагодарю за всю твою прежнюю ласку... Ты ещё плохо знаешь меня!

Он, не торопясь, пошёл к своей хате, вспоминая кое-какие давние дела. Снова вспомнил, как двадцать лет тому назад подсадил его Андрей Иванович, тогда ещё желторотый комсомол,— подсадил на целых два года тюрьмы. И за что только? Какое дело было ему, молокососу Андрею, что Лупянок возил контрабанду? Ну, и возил по мелочам. Ну, сахарин, ну, соль, спирт и ещё там разные разности. Зато и домик себе хороший поставил. К тому же он, Лупянок, и главным не был. А десять лет тому назад? Что говорить, не совсем чисто сработал тогда он, Лупянок. Под пьяную руку всё вышло, когда уговорил его сват подпалить колхозный коровник. Подпалить подпалил, а картуз свой с пьяных глаз возле коровника и оставил. Свата, бывшего кулака, расстреляли, а его, Лупянка, на восемь лет в тюрьму. И жена его бросила, даже проститься не пришла, только передала через людей, что не хочет жить больше с пьяницей,

с наймитом кулацким. Что и говорить, житьё у него получилось незавидное. И когда Лупянок вернулся из тюрьмы, стал он присматриваться, с какой стороны прилепиться, чтобы спокойней было и вольготней. Был сторожем, помогал на молочной ферме, потом счетоводом сделался, потому что знал толк в цифрах, имел склонность к ним. Так и скрипел потихоньку пером. Когда выпивал лишнюю чарку, лез целоваться ко всем и, слюнявя бородёнку, словно уговаривал:

— Вот вы меня все за разбойника считали. А я такой человек, ну, просто же вот разлюбезный.

От него отмахивались, как от назойливой мухи.

Касмыль зашёл в свою хату. Зеленоватый полумрак царил в ней. Касмыль давно начал бояться ночной темноты и каждый вечер, завесив дерюжками окна, зажигал запылённую лампадку, и она горела всю ночь, едва приметная искорка тускло поблёскивала сквозь мутное зелёное стекло.

Касмыль лёг на лежанку. Приятно было полежать в тепле. В трубе глухо завывал ветер, и вьюга билась о стены и окна, так что колыхались старые дерюжки, и совсем замирал, готовый погаснуть, огонёк в лампадке, едва светясь сквозь зелёное стекло.

Зелёное... Касмыль вспомнил про сад. Такой урожайный сад у соседки Аксины, и ещё не старый. Деревьев пятнадцать в нём одних только яблонь и груш, не считая вишен... Комендант обещал... Можно будет продать усадьбу с садом, гумно. Лишняя копеечка не помешает в кармане...

В окно громко постучали.

Касмыль приподнялся, прислушался. Стук

повторился, всё такой же громкий, настойчивый. Касмыль быстро подбежал к лампаде, погасил её и, приподняв уголок дерюжки, стал насторожённо вглядываться сквозь незамерзающий краешек стекла. Он увидел фигуру немецкого солдата. За его спиной можно было разглядеть ещё несколько человек. И когда стук повторился, Касмыль тихонько отозвался:

— Ну, я. Чего ещё там стучите?

— Господин комендант требует к себе...

— Сейчас.

И, ругая в душе неугомонного коменданта, он всунул ноги в валенки, натянул на плечи кожух и выбежал во двор. Не вступая в разговоры с солдатами, под пронизывающим ветром, вместе с ними пошёл к школе.

Всю ночь не смолкала шальная выюга. Глухо шумели, стонали старые ели, звонко поскрипывали застывшие сосны, и где-то в вершинах дубов перекатывалось, гудело: гу-у-у-гу-гу-гу-у... Целые охапки снега, колючего, как иголки, бросал ветер на ветви елей, на скрипучие двери землянки. Ветер врывался в жестяную трубу печки, выдувал золу, искры. Огонь захлёбывался, печка начинала дымить. Тогда из землянки выходил человек, возился возле трубы, прикрывал её еловыми ветками, обледенелыми поленьями дров и, возвратившись в землянку, садился возле нар, которые занимали почти половину жилища. Был он высокого роста, и ему неудобно было сидеть на низком сосновом обручке. Он сутулился, зябко поёживался. Густые волосы его серебрились при неровном свете керосиновой лампочки, еле-еле освещавшей уголок нар, откуда изредка доносились слабые, чуть слышные стоны.

Ребёнок, весь в бинтах, завёрнутый в простыни, накрытый кожухом, лежал там, лежал неподвижный, беспомощный. Человек брал маленькую ручку, прислушивался к ударам пульса и жадным ухом ловил едва слышное, прерывистое дыхание.

— Доченька моя!..— сорвалось с его губ. Он бережно взял её на руки и, осторожно переставляя ноги, стал ходить возле нар: пять шагов туда, пять шагов обратно. Глуховатым, осипшим голосом, он пел колыханку:

Люли-люли, люли-люли,  
Уж все курочки заснули...

Но песня не выходила. Или он забыл слова, или какие-то мысли отвлекали от неё. Он слышал горячий шопот,— трудно было добраться до смысла отдельных слов. Девочка бредила. Что-то лепетала о бабке-хлопотунье, которая печёт для Вульки оладки, топит печку, ездит с немецким обозом. Нет, нет. Она не виновата, бабка, в пожаре. Это её угольки, вулькины.. и красивая синичка... Ой, какая страшная, стра-а-шная синица... Не да-ай-то, боже...

Слабенький голос угасал. Холодели пальчики. Человек положил ребёнка на нары, жадно припал колючей щетиной усов к белой марле. Девочка не дышала.

Человек через силу поднялся на ноги. Взглянул ещё раз на личико с опалёнными ресницами и ожогами на щеках, на лбу. И тихо-тихо,— только чтобы услышала его заснувшая навеки девочка,— не то сказал, не то спросил у неё:

— Кто же нам, моя маленькая синичка, помещал жить? Кто хочет нашей смерти?

Новой палаткой он покрыл её тельце, прикрыл лицо, отошёл к двери.

— Кто хочет нашей смерти?!— крикнул он, давая, наконец, волю своему гневу.

Страшное, громовое проклятье прогремело в землянке, заглушив даже вой шальной вьюги.

Лицом приник он к холодному бревну стены, замолчал, собираясь с мыслями.

Узорная изморозь, покрывавшая бревно, таяла под его горячим лбом. Где-то в ершинах дубов перекатывалось, гудело шальное — гу-гу-гу-гу-у...

Но сквозь посвист вьюги человек расслышал шаги за дверью. Отошёл от стены, обдёрнул гимнастёрку, провёл рукой по лицу.

Вместе с клубами морозного пара вкатился в землянку подвижной, быстрый мальчуган лет пятнадцати-шестнадцати. Его запорошённая снегом фигура, розовые щёки, задорные глаза дышали таким здоровьем, такой жизнерадостностью, что он, споткнувшись о порог землянки, сам застыдился своей излишней живости.

— Дяденька! Андрей Иванович! Простите, товарищ командир, зареченский отряд прислал меня доложить вам, что мы, наконец, поймали этого чёрного полковника...

— Ну-у?!— невольно вырвалось у Андрея Ивановича, и действительно обрадованного такой новостью.

— А куда он денется! Сплясал под нашу дудку! Там и положили— в волчьем логое возле мостика. И одной кавалерии человек пятьдесят: всё эсэсовцы, как на подбор... Ну, а как она?— спросил он тихо, взглянув на нары.— Лучше стало? Спит?— Даже на цыпочки привстал паренёк, чтобы не наделать лишнего шума своими сапогами.— А мы вот только коней запрягли за доктором ехать... Из местечка думаем привезти, из-под самого носа у немцев.

— Не надо...

Мальчуган с недоумением поглядел на командира.

— Не надо... Умерла...

Словно тень пробежала по лицу паренька. Он снял шапку и всё тёр висок, глядя вниз, на осыпанный сосновыми иглами пол.

Андрей Иванович молча подкладывал в печку смолистые сучья.

До самого утра в землянку приходили люди навестить командира, чтоб помочь ему перенести великое горе.

А на селе были свои новости.

Утром женщины пошли в школу сдавать молоко, которое носили туда ежедневно. В сторожке, где принималось молоко, никого не было. Пусто было и в школе. Сквозь разбитые окна и открытую настежь дверь врывался ветер. Целые сугробы снега намело за ночь на пол. Немцев не было, хотя и лежали на нарах их постели. На стенах висели ранцы, всё солдатское хозяйство было на месте. Но солдат не было. Пошли спросить у старосты. Касмыля тоже не нашли. Его хата пустовала.

И только здесь увидели старый дуб, который они боязливо обходили, стараясь не глядеть на него. На высоком, обожжённом когда-то молнией суку раскачивались на верёвке два человека. Женщины робко подошли поближе и узнали в повешенных старосту и коменданта. Они висели в одной петле, обнявшись, лицом к лицу, словно застыли в долгом поцелуе. Ветер раскачивал их из стороны в сторону, и они качались под пошвист вьюги на этих невиданных, страшных качелях.

— Доцеловалась косматая душа!..

Кто-то помянул собаку.  
Кто-то сказал про Иуду.  
Кто-то плюнул.

А выюга гудеда, наметала сугробы, заметала снегом чёрные головешки на пожарище.

Люди молча разошлись по хатам, подальше от того места, где глухо поскрипывал под ветром обожжённый молнией дуб.

## ВАСИЛЬКИ

Ясные, погожие дни стоят обычно в эту пору, когда давно окончена жатва, и жито свезено на гумно, и над опустелым полем дружными стайками носятся скворцы — предвестники близкой осени. В такие дни земля кажется лёгкой, невесомой, она вся дышит тишиной, покоем, отдыхает. Ни жары, ни пыли, ни сизой дымки над полями. Всё видно, как на ладони: придорожную берёзу, колодезный журавль в дальней деревне, а ещё дальше, там, где проходит железная дорога, — белёсый дымок и зубчатую полосу бора. Видно даже, как трепещет пожелтый лист на ближней берёзе, как высоко-высоко в небе летит неведомо куда одинокая паутинка.

С болотца потешно взлетает аист и медленно летит над полем, вытянув вперёд неподвижный клюв.

— Наш аист, — гордо заявляет Миколка.

— Хвастай, хвастай! — смеются ребяташки. — Что ни аист, то сейчас же и твой...

— А вот же — наш... Смотрите! Давайте об заклад, на все боровики! — и Миколка взмахивает своим лукошком.

Оно полно грибов, сверху прикрыто листьями

папоротника, чтобы не попала пыль, да пучком поздних васильков. Васильки — для сестрички, она хотела пойти в лес вместе с Миколкой, но мать не пустила: нездорова девчушка.

— Ну, что же вы, испугались? Грибов жалко? — наступают Миколка на ребяташек, размахивая перед ними липовым лукошком.

Аист летит прямо на дикую грушу, что стоит на краю села, высокая, ветвистая, с гнездом на самой вершине. За грушей — Миколкина хата.

— Ага! Я говорил! — торжествует Миколка.

Он всматривается в далёкую грушу, и лёгкое облачко пробегает по его оживлённому лицу.

— Опять кто-то аиста пугает. Как поймаю, ну и задам же!

Все видят, как аист, совсем было собравшийся сесть на гнездо, вдруг взлетел вверх и долго летал, делая круги всё больше и больше, поднимаясь всё выше и выше, пока не превратился в маленькое белое пятнышко. А вот и оно уже пропало: видно, полетел аист за реку, к синему лесу.

Мальчики вздохнули. Кто-то задумчиво сказал:

— Вот бы самолёты такие сделать, как этот аист. Хочешь сесть на сосну — садись на сосну, на ёлку — на ёлку, а то и на хату высокую можно сесть...

— Зачем тебе такие самолёты?

— Немцев бить чтобы лучше было...

— Тоже придумал... У нас, небось, ещё лучше самолёты есть. Р-р-а-аз — и нет сотни немцев... рра-а-з — и другой нету... Немцы, они хитрющие, а мы ещё хитрей, — резко оборвал Миколка мальчика, мечтавшего о диковинных самолётах, которые машут крыльями и садятся, где хотят, как аисты.

Все задумались.

Немцы. Никто из ребятишек ещё не видел их. Правда, вот уже несколько вечеров подряд глухо гудит земля, и этот гул всё слышней с каждым разом. А вчера были видны частые вспышки на западе.

Ребятишки хорошо знают, что это за вспышки. Ведь сами же они помогали выгонять скотину, которую увели на восток, чтобы не досталась она чего доброго врагу. Скотину погнал сам председатель, отец Миколки, вместе с другими колхозниками. Они ещё не вернулись домой. А несколько раньше проследил Миколка, как отец и ещё несколько человек ездили ночью в лес, а оттуда вернулись порожняком. Возьми и спроси тогда Миколка:

— Это вы гранаты и пулемёты возили в лес прятать, верно? Под старыми елями?.. Ты всё смотрел на них, когда мы с тобой были в лесу...

Отец опешил было от этих слов, потемнел лицом, но потом спокойно подошёл к Миколке и, глядя ему прямо в глаза, синие, хитрющие, сурово прошептал:

— Ты смотри у меня... Если когда-нибудь ляпнешь кому слово, то я... Я вытащу длинный твой язык и повешу тебя за него на этой вот штуке...— отец выразительно показал на крюк.

Плохие шутки с ним, с этим старым партизаном. А хороший всё же отец!

...Ребятишки подошли уже к огородам, когда услышали плач на краю деревни. Прислушались: плач раздавался и в другом месте, и в третьем...

— Голосят...— испуганно сказал один, и мальчики разбежались, рассыпались, как вспугнутые воробьи, по своим огородам и усадьбам.

Миколка ловко перескочил через забор. Не-

сколько боровиков выпало из лукошка. Он поднял их, старательно вытер, положил назад. Синие васьлики осторожно спрятал за пазуху. То-то обрадуется сестричка, когда он вытащит их неожиданно. Стараясь придать своему лицу самое серьёзное, озабоченное выражение, хотя и трогала губы его предательская детская усмешка, Миколка сделал шаг, другой — и вдруг задрожал, как лист, побелел весь.

Возле крыльца, недалеко от старой груши, лежала мать. Одна рука была подвёрнута, другой она крепко прижимала к себе, словно защищая от кого-то, сестричку Миколки. Лица сестрички не видно. У матери же такие странные глаза, словно глядит она и не видит Миколку, своего любимого сына.

Лукошко тихо стукнуло о землю, посыпались из него грибы, — а сколько радости было, когда попадались ему эти боровики в лесу! Встрепенулся Миколка, глубоко всхлипнул, бросившись на колени, припал к матери:

— Мам-а, мам... Ты что же молчишь?

Схватил её руку — она была холодная, как лёд, и тяжёлая-тяжёлая.

Заплакать бы Миколке, на весь мир заплакать. Но он слышит голоса в избе. Гулко хлопнули двери, на крыльцо вышли незнакомые люди, грубо отпихнули Миколку с дорожки. Они что-то несли в руках: Миколка узнал материны одеяла, новое отцовское пальто. Они куда-то спешили, эти люди в необычной одежде, в чудных сапогах.

„Немцы...“ — мелькнула в первый раз страшная мысль.

И он не смотрел на них, не хотел смотреть, пока не затихли их тяжёлые шаги за воротами. Он увидел кровь. В крови были руки сестрички. Но он встал, стараясь понять, что же произошло.

Камнем нависла над ним неотступная мысль: „Что-то нужно сделать...“

Забравшись в коноплю, Миколка пролежал там целую ночь, пока не выплакался. Не на людях же слёзы пускать: ему тринадцать лет, он мужчина. А утром видали люди, как он ходил зачем-то в лес, расспрашивал стариков, по какой дороге пошли немцы.

Потом долго возился в хате, собирался в дорогу. Трудно было найти необходимые вещи: всё было раскидано, разворошено злой рукой. Он взял свою старую школьную сумочку, которую сшила ему мать, когда он был ещё в первом классе. Засунул в неё старый, обгрызанный пенал, любимую тетрадь. Постоял минуту под родной грушей, заботливо прикрыл старенькой, но чистой скатертью лица матери и сестрички и пошёл, не оглядываясь, огородной стёжкой.

Его видели потом в местечке, через которое проходил большак.

Он стоял, прислонившись к телеграфному столбу, и всё вглядывался в дорогу. Кто-то попробовал подшутить над ним: „Уж не в школу ли ты, хлопче, собрался?.. Какое же теперь ученье?“

Миколка не отозвался на этот вопрос.

Перед ним проходили вооружённые люди — группами, колоннами, в одиночку. Поднимая пыль, мчались грузовики, грохотали пушки по каменной мостовой. И всё чужие люди, чужие машины, чужие пушки. Он иногда оживлялся на секунду, отрывался от столба, но снова запылённое его лицо становилось серым, бессильно опускались руки.

И вот он пришёл, этот долгожданный миг. Вот они, эти люди, они замучили его мать, его сестрёнку, отобрали у него светлое солнце.

Впереди колонны всадников тихо продвигался огромный автобус. Ещё не выцвел лак на нём, не стёрлись непонятные жёлтые буквы и знаки. Сквозь открытые окна увидел Миколка чёрные мундиры, чёрные шапки с красными кантами. И на шапках и на мундирах черепа, скрещённые кости. Эти люди громко разговаривали, смеялись. Ехавшие позади всадники тянули пьяную песню, и песня была серая, как пыль, тяжёлая, как камень на сердце.

Миколка подтянулся весь, в одно мгновение очутился возле самых окон машины:

— Вот вам! За мать, за сестричку мою!

Он швырнул в окно какой-то свёрток, завернутый в газету. Ослепительный столб огня отбросил его далеко в придорожную пыль.

Оскалив пенистые морды, вздыбились кони. Послетали шапки у всадников. Многие свалились наземь. Слышались растерянные слова команды. С перекошенными от страха лицами бежали солдаты с носилками, с лопатами. Машина пылала на дороге, дымились, тлели на камнях чёрные мундиры.

К Миколке подскочил седой вахмистр. Он выстрелил несколько раз в Миколку и потом, словно испугавшись чего-то, быстро спрятал в кобуру дымящийся револьвер, и, ссутулившись, пошёл прочь, к тем, что расчищали дорогу, то здесь, то там посыпали её жёлтым песком.

Миколка не слышал этих выстрелов, ему было уже всё равно. Неподвижным взглядом всматривался он в голубое небо, словно прислушивался к былым своим мыслям: о ненависти, о мести. Застывшее лицо стало суровым, словно прожил Миколка многие десятки лет, всё пережил, всё увидел на свете. И только на губах остались —

ни огонь, ни железо не могли их стереть — следы усмешки, славной, ребячьей.

Рядом лежала его сумочка с пеналом, раскрошенным солдатским сапогом. Из-за пазухи выпали и лежали в пыли запоздалые осенние васильки.

Синими васильками отцветали и глаза мальчика.

## ДЕТСКИЙ БОТИНОК

Солнечный луч скользнул по лицу ребёнка, жарко вспыхнул в русых кудряшках.

Это вывело женщину из задумчивости. Привычным движением она сняла с головы платок, деловито развесила его на ветвях, поправила неловко подвернувшуюся ручку ребёнка, осторожно разжав потный кулачок, вынула из него камешек, сняла прилипшие к ладошке иглы хвои и, глядя на эту маленькую ладошку, улыбнулась чему-то, вздохнула, прижалась щекой к дереву. Шершавая кора была тёплой, пахучей. Янтарию поблёскивали на красноватом стволе натёки смолы. Золотистыми иглами прошивали воздух стремительные жёлтые осы. Они тихо звенели, и их звон сливался с сухим стрекотаньем кузнечиков.

Было нестерпимо душно. Пахло гарью. Полнеба на западе было закрыто огромной тёмной тучей. Женщина не смотрела, она боялась смотреть туда. В ушах у неё ещё стоял гул разбушевавшегося пламени, свистящий вой металла, треск оседающих стен. Как перед глазами, качается вырванный бомбой горящий телеграфный столб. Струнами гудят провода, жадное пламя мечется на ветру, жёлтые языки то вытягиваются, то де-

даются короче, ползут, шелестят. Вот-вот упадёт столб, оборвёт раскалённые провода. Скорее бы пройти, проскочить это страшное место. Кругом огонь, дым, хруст стекла под ногами.

...Женщина прислушалась к неровному дыханию вздрагивавшего во сне ребёнка, беспомощно припала к земле.

— Да что ты в самом деле, Нехама?— нарочито строго говорит ей, тормоша за плечо, сё подруга Вера. Строгость вовсе не идёт к этой маленькой и подвижной, как ртуть, женщине, к золотисто-пепельному сиянию её волос, обрамляющих такое улыбочное, в солнечных веснушках лицо.

— Боюсь.. Напугали его...— глазами указывает на ребёнка мать.

— А ты не бойся. Всё это пустяки, всё это пройдёт. Хорошо вот, живы мы, дети живы. И мужья... тоже будут живы...

Говорит она уверенно, убедительно, но постепенно голос её делается тихим, просящим. Незаметно притронувшись пальцами к влажным глазам, Вера снова начинает говорить— торопливо, громко:

— Смотри, сколько ягод будет в этом году. Цветов-то, цветов!

— Да... ягоды...— безучастно шепчет Нехама.

— Да ты только посмотри!

— Оставь...

Они замолкают. Они понимают друг друга с полуслова, эти женщины, ставшие подружками с детских лет. Они и на швейную фабрику пришли вместе, из одного местечка, в одном доме жили, почти в одно время, на глазах друг у друга, обзавелись семьями. Сынишке Нехамы Борису уже семь лет; у Веры двое детей поменьше.

Женщины утешают друг друга в пути. По очереди. Иногда не выдержат, всплакнут обе, упав

на землю, уткнув головы в зелёный прохладный папоротник, в суховатый вереск.

Потемнеет лицом седая Анисья-дворничиха, — она тоже тут, с ними.

— Эх, вы! А ещё молодые! Что же нам-то, старухам, делать?

Подруги улыбаются, стараются улыбнуться.

— Да разве мы... Мы просто так...

— Знаю я вас. Ну, ладно. Пора детей поднимать да и в дорогу.

Но все просят:

— Ещё минут с пяток пусть поспят.

Сладок детский сон после пыли и зноя. И взрослых клонят в дрему запахи чебреца, багуна. Холодный брусничник унимает боль в натёртой ноге, мягко никнет голова к пушистому, нагретому солнцем мху. Горячий воздух струится вокруг красноватого ствола, уходящего высоко-высоко в неподвижную синь неба. Еле-еле колеблются голубые паутинки, птичье пёрышко, прилипшее к янтарной смоле. Золотистыми иглами прошивают воздух стремительные жёлтые осы.

Они появились незаметно, выскочив из-за поворота лесной дороги. Заметив людей, схватились за автоматы, но, убедившись, что перед ними одни только женщины и дети, они, не заглушив моторов, остановились у дороги; некоторые сошли с мотоциклов.

Потные, запыхлённые, подходили к женщинам, бесцеремонно заглядывая в их побелевшие лица, наступая на ноги детям. Один подбросил вверх носком сапога маленький пёстрый узелок. Из него выпал кусок хлеба, бутылка молока мягко упала на мох. Её подхватил долговязый солдат и, захлёбываясь от смеха, осушил в два-три глотка,

ловко запустив пустой бутылкой в сосну. За ними и остальные бросились потрошить узелки, корзинки, сумки.

Жадно набрасывались на молоко, перехватывали друг у друга добычу, громко потешались над неудачниками. Золотушный ефрейтор, подошедший позже других, начал свирепеть. Одну за другой разбил он несколько бутылок с водой. В последней бутылке опять оказалась вода. Коротко выругавшись, он выпрямился и, часто мигая выцветшими рыжими ресницами, осмотрелся кругом. Надрывно плакали дети. Матери прикрывали их руками, тихо шептали:

— Не надо, не надо плакать...

Багровела золотушная шея ефрейтора. Топорщилась прокуренная щётка усов. Кто-то из солдат рассмеялся невпопад. Сурово цыкнул на него ефрейтор, и тут же голос его сорвался на крик, на вопль:

— К чорту! Я тут хозяин!

Набегавшись и накричавшись, он вдруг остановился и приказал, чтобы все евреи отошли в сторону.

Тихий вздох пронёсся по поляне, заглох во мхах.

Кто-то нерешительно встал. Приподнялась на колени Нехама. Её схватила за руки Вера, потянула вниз.

— Не ходи, тебе говорю, не ходи!— шептала она сухими, бескровными губами.

Нехама опустилась на землю. Закрыв лицо ладонями, она сидела в тяжком оцепенении. Обхватив ручонками её колени, тянулся к ней сынишка.

— Ты не пугайся, мама... Это не страшно...— „Это не страшно“,— так утешала его мать, когда тень самолёта проносилась над ними, а пыль-

ное белесоватое шоссе становилось вдруг чёрным от фонтанов грязи и комьев торфа, осыпавших дорогу.— Это не страшно...

Мальчик плакал, стараясь заглянуть в лицо матери, в её глаза. И странное дело — она отодвигалась от него, мягко, но настойчиво отстраняя его от себя.

Когда грубые\* руки схватили её за плечи, она успела только сказать:

— Береги его, Вера...

Вера потянула его к себе, к своим малышам, заслонила от матери. Судорожно зажимая ему рот, всё говорила, говорила:

— Ты не бойся, Боренька, молчи... Молчи, Боренька...

Раздалось несколько приглушённых вскриков.

— Убийцы вы, звери!.. — Голос оборвался, умолк.

Плакали навзрыд женщины, вокруг громко смеялись чему-то солдаты. Они выбивали о деревья снятые куртки, серая пыль ложилась на красноватые стволы. Один из солдат мыл руки в ручье и, оживлённо жестикулируя, рассказывал о чём-то, часто оборачивался назад, остальные зычно хохотали.

Хохот неожиданно оборвался. Через поляну бежал мальчик. Пронзительный детский крик вспугнул птиц на вершине сосны, они вспорхнули, взмыли вверх над поляной.

— Мама! Мамочка! Я не хочу... Ты моя мама...

Вслед за ним бежала женщина, стараясь поймать его за руку.

— Назад, Боря, назад!.. Ах, боже ж мой!..

И что-то показалось, померещилось, должно быть, тёте Вере. Голос её надорвался, стал сухим, колючим.

— Вы, вы... Не смейте!.. Это дети!.. Это сын мой!..

Сухие хлопки выстрелов раздались один за другим. Мальчик споткнулся, опрокинулся навзничь на выцветший от солнца вереск. Схватившись за грудь рукой, женщина опустилась на колени, что-то хотела сказать и тяжело упала у большого камня, обросшего скользким зеленоватым мхом. Тихо журчал у камня ручей.

И снова треск мотоциклов по дороге. Подъехал другой отряд. Раздалась короткая команда. Солдаты торопливо усаживались на машины и, поднимая клубы густой, тяжёлой пыли, уезжали дальше по угрюмой лесной дороге.

Золотушный ефрейтор засуетился, бросился к мёртвому мальчику и, согнувшись, не глядя на лицо ребёнка, стал деловито расшнуровывать ботинок. Сняв один, торопливо принялся за другой. Туго стянутый шнурок не поддавался. Тогда он уселся на землю, чтобы удобнее расправиться с неподатливым шнурком. Долго копался в кармане, достал складной нож, раскрыл его — и вдруг в ужасе отпрянул от ребёнка. Детская рука судорожно приподнялась и опустилась на рыжую щетинистую щеку солдата. Отпрянув в сторону, ефрейтор пробормотал что-то в испуге, но, взглянув искоса на труп мальчика, понял всё, успокоился. Чорт бы взял этот проклятый шнурок, сколько возни с ним. Но только он принялся за него, как удар по каске чуть не опрокинул его наземь.

Камень упал рядом с ним. Воровато оглянулся ефрейтор. Рыжая щетина потемнела от пота. Быстро мигали выцветшие ресницы. Он прикрыл было руками лицо, потом спохватился, кинулся к автомату.

Седая старуха шла на него, судорожно сжимая в костлявых руках тяжёлые камни. Каждая морщина сухого старческого лица полна была су-

ровой решимости. Станным блеском светились запавшие глаза, страшные, немигающие глаза старухи. За ней двигались мрачные, исступлённые женщины. Он видел в руках у них камни, сучковатые палки, какой-то обломок железа.

„Откуда они могли взять железо?“ — мелькнула у него глупая и ненужная в эту минуту мысль.

Он попятился назад и, чувствуя, как холодеет и липнет к шее ставший вдруг тесным воротник, выстрелил. Автомат упал на землю, — острый камень перешиб руку, другой больно оцарапал лицо. Они шли прямо на него, шли, не останавливаясь.

Пригнувшись, он бросился к машине. Вслед посыпалась туча камней. Мотоцикл заглох, и ушибленная нога не справлялась с заводом мотора. Солдат перебежал дорогу, прыгнул через канаву и, спотыкаясь, прихрамывая, бежал вдоль ручья в глубь леса. Он сбросил каску, ремень, торопливо расстегнул и сбросил запылённую куртку.

Неумолимые женские голоса настигали его. Женщины обгоняли его слева, заходили справа. Бежать становилось трудней и трудней. Ноги проваливались сквозь мох, увязали в липкой, вязкой грязи болота. Он задыхался, капли пота попадали в глаза, мешали видеть.

И тогда он понял, почувствовал: никуда не уйти ему больше от них. Никуда не уйти от этой седой старухи, от её глаз, страшных и неумолимых, наполненных гневом и ненавистью. Втянув голову в плечи, задыхаясь, он упал на мягкую, зыбкую почву. Угрюмо прошелестела почерневшая у корней осока, тревожно взметнулась вспугнутая птица. Земля заходила ходуном, вздохнула ворчливо, протяжно.

Больше он ничего не слышал и не видел.

На поляне плакали дети. Некоторые, постарше, пугливо посматривали на белый камень у ручья. Там, на сыром песке у воды, неподвижно лежали чужие мамы.

На примятой траве одиноко чернел детский ботинок. Большой рыжий муравей взбирался на него со своей ношей — сухим стебельком вереска. А когда взобрался, побегал нерешительно взад-вперёд и, словно чему-то ужаснувшись, положил свою ношу, стремительно бросился вниз по этой необычной тропе.

Красноватые стволы сосен уходили высоко-высоко в глубокую и неподвижную синь неба. Золотистыми иглами прошивали воздух стремительные жёлтые осы. Внизу пахло чебрецом, багуном, еле уловимым ароматом зелёного вереска.

## ИРИНА

Паровоз мерно покачивался, однотонно стучали колёса, гудело в топке, надоедливо шипел пар, вырываясь тонкой струйкой. У её основания росли, пузырились кипящие капли воды и, медленно скатываясь, тяжело срывались с начищенной меди краника.

Крепким, густым жаром полыхало от топки. От него слипались глаза. Клонило ко сну. Ирина повернулась к дверце паровозной будки. Намокший брезент тяжело хлопал по стальным поручням. Вместе с холодным ветром врывались частые капли дождя, они приободрили её, отогнали сон.

Тщедушный машинист в потёртой немецкой форменке был занят не совсем обычным для него делом. На подлокотнике у окна стояло не-

большое лукошко, полное яиц. Осторожно перебрал их, машинист взял яйцо, отряхнул мякиную труху, внимательно всмотрелся в него на свет маленькой электрической лампочки, затем старательно проковырял палочкой маленькое отверстие в скорлупе. Вытянув губы, он торжественно поднёс яйцо ко рту и, задрвав голову, так что виден стал морщинистый кадык, медленно, с явным наслаждением выпил содержимое хрупкой скорлупы. Не торопясь облизал прокуренные усы и, отставив руку с пустой скорлупой, сказал важно, с достоинством:

— Ах, хорошо! Ах, как хорошо!

Он снисходительно похлопал женщину по плечу, игриво подмигнув ей бесцветным, водянистым глазом. И вся фигура его, и обвисшее брюхо, и прилипшая к усам яичная скорлупа, нос, запачканный желтком,— всё это было так смешно и так не вязалось с его торжественными жестами, что Ирина не выдержала и улыбнулась.

Улыбнулась впервые за несколько месяцев.

Машинист принял эту улыбку как знак благосклонности к его особе, подтянулся, расправил усы, что-то начальнически буркнул кочегару. Усталый парень тяжело поднялся с сиденья, с сердцем взялся за длинную железную лопату и, открыв топку, стал подбрасывать уголь.

Отблески яркого пламени упали на лицо Ирины, улыбка скользила ещё по её губам, но взгляд был жёсткий, холодный. Только руки дрожали. И чтоб не выдать своего волнения, Ирина достала из узелка корку хлеба и стала ожесточённо жевать её, жадно вслушиваясь в перестук колёс. Ветер распахивал брезент, сердито хлопал им, и тогда Ирине хорошо было видно, как пролетали мимо знакомые места. Вот промелькнули три сосны, старый дуб с двумя ульями под ним,

заделькали березки... Скоро будет переезд, потом закругление, а там...

Пора!

Эта мысль обожгла мозг, как вспышка пороха. Сколько ни готовилась внутренне Ирина к этой минуте, неожиданным и даже страшным показалось ей всё это. Холодной льдинкой кольнуло сердце: удастся ли, не помешает ли кто?..

Бесновалось в топке пламя, жёлтые, красные, извивались огненные языки. Струились, сновали прозрачные золотистые нити. Они принимали самые неожиданные очертания, самые чудесные оттенки: от расплавленного золота до спелой желтизны овсяного снопа.

„Волосики у него были такие же“, — мелькнула мысль, и сразу потеплело у неё на сердце. Оно стало биться спокойнее, увереннее.

— Родимый мой! Маленький мой! — беззвучно шептали губы, а пальцы крепко сжимали узелок.

— Пора!..

Как счастливо, солнечно цвели эти последние годы! Пять лет тому назад они поженились. Даже не заметила Ирина, как кончилось беззаботное девичество, с песнями, с погулянками, с поздними хороводами, с весенними зорями, когда пахуч и прозрачен берёзовый клейкий лист, когда пронзительны весенние росы и в каждом кусте столько соловьиных песен, что, заслушавшись их, забываешь, сколько же раз тебя поцелуют... Они построили маленький, чистенький домик под старой липой. Посадили несколько яблонь, вишен. Под окнами разбили целый цветник — то была Ирина забота, — чтоб весело было маленькому Васятке. Он так любил цветы и пчёл, мотыльков, весёлых майских

жуков, залетавших в зелёный палисадник. По-прежнему пела песни Ирина, и ещё дружнее спорилась работа в её руках, руках колхозной льноводки. Она была всё той же резвой хлопотуньей и могла поспорить с любой девушкой колхозе: и в песне, и в изобретательной шутке, и в любой работе. Потому-то по воскресеньям постоянно заливалась гармоника у них под окном, постоянно шумела молодёжь. Гудела утоптанная земля, когда парни и девчата откалывали кадрили, кружились в лявонихе, в бесконечных крыжачках и польках.

Хороший был гармонист Игнась, муж Ирины, умел он работать, умел и повеселиться.

Всё это кончилось, оборвалось, как сон. Игнась ушёл вместе с другими на фронт. Простился с женой, взял на руки четырёхлетнего Васятку, расцеловал его и, вглядываясь в голубые и яркие, как льняной цвет, Васяткины глазёнки, сказал:

— Береги его. Экой же он богатырь у нас! Один ведь только!

Он торопливо поцеловал обоих и ушёл. Где-то он теперь?

Потом нагрянули серой тучей эти вот: ненавидистые, жестокие, чужие. Отцвели и погнили неубранные льны. Полегло на вытоптанном и размокшем поле потемневшее, осыпавшееся жито. Прорастала в колосе пшеница. Всё пошло прахом. Люди давно забыли про песни, про весёлое слово. Вздыхали, плакали бабы, вглядываясь в зловещие зарева под ночам. Мужики почти всей деревней ушли в леса. Всё чаще наведывались кемцы, искали партизан, угоняли последнюю овцу из хлева, выгребали последнее зерно из закромов. Сожгли для устрашения несколько хат, учинили зверскую расправу над

двумя стариками, наотрез отказавшимися сказать что-нибудь толком о партизанах. Стариков повесили на колхозном дворе на старой полузасохшей берёзе. В деревне стало тихо и хмуро, как в могиле.

Тогда и случилось это.

Из проходившего эшелона чья-то пьяная, дикая рука метнула несколько пустых бутылок в группу ребятишек, игравших на песке. Ирина была в избе, когда соседки внесли и молча положили на лавку посиневшее тельце сынишки.

— Басятка мой! — глухо вскрикнула Ирина, схватила его и в исступлении покрывала поцелуями, перебирала пепельные слипшиеся волосы, смывала с темени кровь и всё заглядывала в закатившиеся детские очи.

— Глазыньки вы мои ласковые!.. Неживые вы, неживые...

Она прижимала к себе ребёнка, кутала его в старое одеяльце, согревала своим дыханием, словно надеялась затеплить искру жизни в маленьком хрупком тельце. Только поздно ночью соседки насилу отобрали у неё ребёнка, обмыли его, убрали, положили на стол. Утром торопливо, втихомолку похоронили. Долго сидели они с Ириной, боялись, как бы она не сделала чего худого над собой.

С тех пор погасла улыбка на лице Ирины. Она стала замкнутой, молчаливой. Целыми днями смотрела из окна на проходившие поезда, эшелоны, всё думала свою угрюмую, тяжкую думу. Иногда шептала:

— Всё на нас везут, на наших... Крови нашей никак не напьются...

И когда в партизанской группе серьёзно заговорили о взрывах на железной дороге, она просто сказала:

— Это сделаю я...

Никто не спорил, не возражал. Ей только сказали, что дело это очень трудное. За него надо браться с умом, с расчётом. Иначе гибель, напрасная кровь своих же людей.

— Я же сказала, сделаю, — скупой отрезала Ирина.

Согласились.

Нужно было взорвать железнодорожный мост. Это действительно было трудное дело. Мост усиленно охранялся, к нему невозможно было и подступить. Надо было действовать по-иному. Договорились о взрыве проходящего поезда на мосту. Это было легче и верней...

До этого времени Ирина выполняла в отряде самую простую работу: ведала небольшим складом боеприпасов, находившимся тут же, возле её домика, в дупле старой липы. Она хорошо уже знала все тайны динамита, особенности мелинитовых шашек, секреты содружества динамита и пироксилина, все их капризные свойства и качества. Но до сих пор она только охраняла их. Теперь же она сама должна вдохнуть в эти нехитрые вещи страшную силу разрушения. Правда, ей сказали, что она только отнесёт узелок на соседний разъезд, где немецкий эшелон будет брать дрова. Среди грузчиков найдутся свои люди. Она должна только незаметно передать им узелок, обыкновенный узелок с незатейливым обедом в двух завязанных горшочках. А потом может уйти. Те люди завершат дело.

И она пошла. Завязала в узелок горшочки. Взяла лукошко яиц для отвода глаз, если кто начнёт приставать с расспросами. На разъезд пришла под вечер. Подошёл и гружёный состав: железные платформы с орудиями и танками,

несколько закрытых вагонов, с десятков цистерн. Паровоз действительно брал дрова. Но условленных людей на месте не оказалось. Ирина прошла несколько раз вдоль эшелона, поравнялась ещё раз с паровозом и, встревоженная, удручённая неудачей, уже готова была вернуться в деревню, как привязался к ней немец-машинист, возившийся у паровоза. Он заметил яйца в лукошке.

— О, яйки! Ах, хорошо! Это хорошо! Продаёшь?

Он говорил, хотя и плохо, по-русски. Ирина растерялась вначале, смутилась. Но, неожиданно для себя, заговорила спокойно, независимо:

— Не продаю. Вот подвези до Ульяновки... Десять километров. Всё лукошко тогда твоё.

Немец смотрел, облизываясь, на лукошко, гаечным ключом почесал колено, оглянулся вдоль эшелона, нерешительно крикнул:

— Хм, чорт! Садись...

Последнее дерево промелькнуло мимо паровоза. Кочегар собирался уже закрыть дверку топки, когда Ирина стремительным движением бросила в топку узелок. Машинист отпрянул от окна, испуганно схватил её за руку.

Зачем ты это?

Ирина не успела и ответить. Всё взметнулось огненным смерчем, потонуло в грохоте, в скрежете, в слепительных молниях взрыва. В сумрачном вечернем небе зажглись кровавые зарницы, освещая багрянцем низкие осенние облака, торопливо мчавшиеся над землёй.

Зарево полыхало всё ярче, всё сильнее.

## КУСОК ХЛЕБА

Груша расцвела ночью.

Ещё вчера стояла она голая, неприветливая, с побуревшими узловатыми сучьями. Многие ветки были искалечены морозом, кора на них потрескалась, взлохматилась, и с самой ранней весны трудолюбивые грачи деловито дёргали сухие волокна на свои грачиные гнёзда. Иные ветки обломаны, словно срезаны невидимым ножом,— то следы прошлых боёв, разыгравшихся под самой деревней.

Теперь не узнать было старую грушу.

Как невеста в подвенечной фате, стояла она, радостная, праздничная в белой кипени цветов, в хмельном гудении пчёл, сверкавших золотыми блёстками крыльев на белоснежном весеннем уборе. И вслед за ней всё кругом изменилось, приукрасилось. Совсем иным — уютным, прибранным казался старый двор с проломанным частоколом, с взлохмаченной ветром соломой навеса, с покосившимся сарайчиком, где разместились теперь хозяева избы. Даже чёрные пепелища уже успели покрыться бледной зеленью молодой крапивы и не так бросались в глаза. А над всем этим было столько глубокой прозрачной синевы, столько света и солнечного сияния, что оберлейтенант Отто Штрайх, вышедший из избы, где он квартировал, невольно прижмурил глаза. Освоившись со светом и протерев очки, он взглянул ещё раз на пышную грушу, но только и смог, что воскликнуть вполголоса:

— О-о!

Тут было и удивление, и восхищение, и, пожалуй, зависть к этой кипучей и неистребимой силе жизни, попирающей смерть и разрушение и

так чудодейственно исцеляющей свои раны. Жизнь не терпит глена. Даже суровые ряды берёзовых крестов на самой окраине деревни уже утратили свой безупречный белый цвет, потускнели, почти скрылись в густой зелёной траве.

Кресты... Это немножечко грустно.

Под ними могилы германских солдат.

Могилы — это уже совсем грустно.

Но ярок и светел день, а он — Отто Штрайх — стоит живой и бодрый на пороге чужой избы. Её хозяйева ютятся теперь в грязном хлеву, и сквозь широкие щели в бревенчатой стене видит Отто Штрайх несколько пар разглядывающих его детских глаз, мгновенно исчезнувших, когда он сходит с крылечка. Но ему нет дела до этих детей.

— Аппарат! — звучно кричит он назад, в тёмный проём двери.

Подтянутый денщик выскочил из избы и ловко подал господину офицеру фотоаппарат. Это обычный „контакт“, неразлучный спутник Отто Штрайха, бывшего приказчика одного из берлинских фотомагазинов. Отто Штрайх — завзятый фотолобитель. Но всё, что снимал он до войны: чахлые липы у магазина, приевшиеся до тошноты семейные группы, нехитрые натюрморты из пивных бутылок и тарелки сосисок, — всё это бледнеет перед его снимками военных лет. Будет что показать дома пухлой и не в меру пугливой Анхен, всем старым знакомым и сослуживцам, — вернее, тем из них, которые по возрасту своему не имели возможности побывать на фронте. Кто побывал на фронте, того ничем не удивишь: ни развалинами городов, ни полыхающими в огне сёлами, ни предсмертными судорогами людей на виселицах.

„Та-а-к. Мы истребляли...“ — скажет Отто

Штрайх за доброй кружкой пива в тесной приятельской компании.

„Через горы трупов и реки крови пронесли мы знамя великой Германии...“ — скажет Отто Штрайх, в прошлом приказчик, а сейчас офицер, офицер армии завоевателей, армии победителей...

Эти смутные мысли приятно кружат голову, как и весенний день, как и праздничное утро — сегодня же воскресенье, — как и тот бесспорный факт, что сегодня исполнилось ему, Отто Штрайху, ровно пятьдесят два года...

Он снимает дерево, снимает отдельную ветку, густо усыпанную белыми лепестками. Это специально для Анхен. Он напишет пару нежных слов, пусть белые лепестки напомнят ей давно промелькнувшую весну. Сколько этих вёсен, сколько лет пролетело! Сколько раз говорили они с дорогой Анхен о собственном загородном домике. Да вот это так и не вышло, мечты остались мечтами. Хорошо было бы теперь, если бы и Анхен была тут, на этой завоёванной земле под этой чудесной грушей. Она так любит цветы, весну, так любит помечтать о загородном домике.

— Стол сюда! Буду завтракать под деревом!

Расторопный денщик мгновенно выволок из избы стол, поставил его под грушей. Сбежал в хлев к хозяйке, принёс оттуда чистую скатерть, кувшин молока. Отто Штрайх выпил молоко — как приятно пить утром натощак молоко! В кувшине ещё оставалось немного, но кувшин необходим был для букета: целый ворох пушистых веток наломал Отто Штрайх с пахучего дерева. Вылив остатки молока на землю, он поставил в кувшин цветы и только тогда серьёзно приступил к завтраку. Денщик, беспрестанно бегавший в избу, поставил на стол непечатую бутылку

коньяку, принёс добрый кусок свинины и всякой другой снеди — в консервных жестянках, в бумажных пакетиках, в стеклянных посудилах. Отто Штрайх смотрел на пёстрые этикетки, и ему припомнился старый школьный учебник географии. Правда, тогда география в его представлении была страшно отвлечённой наукой. Теперь она стала совсем реальной, физически осязаемой, и его стол, стол с завтраком Отто Штрайха, был не чем иным, как живой иллюстрацией к новой географии Европы.

Отто Штрайх выпил рюмку за новую Европу, предварительно приказав денщику заснять его с рюмкой в одной руке, с бутылкой французского коньяка в другой. Он ел медленно, долго, мелкими глотками потягивая коньяк, и посоловельми глазами посматривал вокруг, на двор, на покосившийся сарайчик, откуда долетали приглушённые голоса детей. Временами он улавливал знакомое слово „хлеб“ и ясно представлял себе, как хозяйка избы раздаёт своему потомству — этим маленьким, худым и грязным созданиям — по кусочку хлеба, успокаивая то одного, то другого звучным шлепком. Говоря по совести, он был даже доволен этой женщиной, сухой, худощавой, с неприятно обвисшей грудью, доволен потому, что она не пускает на двор многочисленное своё потомство, когда он, господин офицер, собственной персоной восседает под деревом. Не пускает, чтобы не омрачать ему, господину офицеру, хорошего настроения.

Отто Штрайх поводит сонным взглядом по пустынной деревенской улице. Только в самом конце деревни замечает он высокую белую фигуру человека. И когда человек подходит ближе, Отто Штрайх видит, что это глубокий старик, с седой бородой, в лаптях, в белой холщёвой

рубаше и в таких же штанах. Старик медленно переходит от окна к окну, о чём-то просит. От старика не отступает ни на шаг собака, обыкновенная дворняжка, с взлохмаченной шерстью, вся облепленная ещё прошлогодними репьями. Старик просит, протянув руку, а дворняжка стоит перед ним, кося то одним, то другим глазом на сивую бороду деда, оживлённо махая хвостом, когда в руку старика попадает луковица, или кусочек хлеба, или пара печёных картофелин.

Старик заинтересовал Отто Штрайха. Это же настоящий патриарх белорусских лесов и болот, чистокровный туземец. Не грех и снимок с него сделать, передать потом знакомым корреспондентам. Они вечно надоедают ему своими просьбами дать что-нибудь яркое, колоритное. Но будет ли он ещё беспокоить себя из-за каких-то там корреспондентов, тем более что они не особенно и ценят его снимки. Гм... Его манера, видите ли, устарела...

Старик тихо, но настойчиво постучал в ка-литку.

— Подайте, Христа-ради...

Голос был тихий, спокойный, ко всему безразличный.

Скрипнули ворота сарайчика. Хозяин избы, пожилой крестьянин, прошёл мимо, подал старику кусочек хлеба. Тот равнодушно положил его в торбу, собираясь итти дальше. Лёгкий ветерок всколыхнул нижние ветви груши, несколько лепестков закружилось над столом, один, другой упали в рюмку с коньяком. Мягким ароматом повеяло от расцветшего дерева.

— Эй, ты... Постой!— крикнул Отто Штрайх.

На голос офицера выскочил было из двери денщик, но начальник махнул ему рукой, и тот снова скрылся в избе. Старик недоверчиво взглянул

на офицера и, поняв, что зовут его, спокойно переступил порожек калитки, учтиво поклонился офицеру и стоял, переминаясь с ноги на ногу, опираясь обеими руками на тонкую ореховую палку. Длинная борода закрывала впалую грудь, широкие рукава рубахи и селые штанины казались пустыми — до того худы были руки и ноги старика. Из-под седых бровей угрюмо посматривали глубоко запавшие глаза, видевшие многие десятки вёсен и зим, давно отдавшие этим вёснам свою былую глубокую синь.

Офицер с любопытством посматривал на старика и вертел в руках ломоть белого хлеба. Мгновенье подумал и, решительно намазав хлеб маслом, торжественно бросил его к ногам старика.

— Бери! — приказал он и самодовольно выпрямился, заложив руки в карманы.

Старик бережно поднял с земли кусок хлеба, осторожно сдул с него пылинки, песок, снял приставшие соломинки и так же серьёзно, как делал он, вероятно, всё в жизни, отдал хлеб собаке.

Густым румянцем вспыхнуло лицо офицера. Он даже стукнул кулаком по столу и гневно крикнул старику:

— Ты! Старый чорт! Тебе хлеб дают, а ты что делаешь?

Старик посмотрел на офицера из-под насупленных бровей и сдержанно ответил:

— Простите, господин офицер, может, я не так понял. Ведь так уже водится у нас по всей нашей русской земле, так дают хлеб только собакам...

И, учтиво поклонившись офицеру, старик повернулся к калитке.

Отто Штрайх сидел молчаливый, надутый. Красные пятна ещё держались, не таяли на его

одутловатом лице. Денщик нерешительно топтался у стола, прибирая посуду. Где-то зашумел крыльями и загорланил одинокий петух. В глазах офицера мелькнул злой огонёк.

— Что ещё за новости такие?— резко спросил он у денщика.

— Извините!— вытянулся в струнку солдат.— Это господина старосты петух изволит петь. Староста готовит его на посылку вашей уважаемой супруге...

— На посылку, на посылку... — передразнил Отто Штрайх денщика.— Никогда не научишь тебя, дурака, говорить как следует с начальством. Пояс, болван, пояс! А ну, шевелись, корова!

Настроение Отто Штрайха было явно испорчено.

А на лужку, у речки, отдыхал старик. Он долго разминал вялыми дёснами сухую корку хлеба. Напился из берестяного ковша, спрятанного в ольховом кусту. Положив на передние лапы лохматую голову, вытянулась в тени дворняжка и пристально следила за спокойными движениями деда. А когда тот заговорил, весело начала бить хвостом по земле, по траве.

— Ты вот, собачья душа, наелась немецкого хлеба и рада... А мне неприятности через тебя... А того и не понимаешь вот, что всем нам хотят они собачьей доли... Ну, да это ещё видно будет... Однако пора и двигаться нам. Небось, давно там заждались нас,— ждут не дождутся...

Осторожно перебравшись по гибкой перекладине через речку, дед пошёл еле приметной тропкой прямо туда, где из прозрачной дымки выступал берёзовый подлесок, а за ним тянулся бесконечной синевой далёкий и таинственный бор.

## НЁДОПЕТЫЕ ПЕСНИ

Быстро проносились над лесом рваные облака. Там высоко-высоко, за самыми облаками, курлыкали журавли. И каждому хотелось увидеть их, и все вглядывались в глубокую темень неба, сясь различить в тусклом мерцании звёзд, в разрывах облаков очертания чудесных птиц. Но они уже были далеко. Еле-еле долетала журавлиная песня, и незаметно сливалась она с шелестом листьев, с шорохом трав, с неумолчным гомоном бора. Только на сердце долго отдавалась она ноющей, щемящей болью, горечью невыразимой утраты.

— Да-а, полетели,—прошептал кто-то рядом. Ему никто не ответил. Каждый занят был своими думами.

Над лесом взошла луна. Чётко обозначались зубчатые вершины елей, в серебристом сиянии мерно покачивались задумчивые сосны, глубокие тени пересекли лесную поляну. Люди приникли к земле, не шевелясь, жадно вслушивались в звуки осенней ночи: где-то хрустнул сучок, легко упала сосновая шишка, далеко-далеко звонко заржал жеребёнок,— и опять всё тихо, глухо. Только вершины сосен гудели чуть слышно, трепетно шелестели беспокойные осины. Пахло переспевшей брусникой, прихваченным первыми заморозками грибом, да изредка порыв ветра доносил еле уловимый запах каменноугольной гары: где-то поблизости проходила железная дорога.

Новый порыв ветра взьерошил вершины деревьев, сбросил на землю охапки шуршащих листьев, и тогда послышались далёкие, так долго ожидаемые звуки.

Идёт!— торжественно прошептал лежавший

рядом со мной человек и до боли сжал мою руку; это был командир засады.

Никто не проронил ни слова, ни звука. Все напряжённо вслушивались в шумное дыхание ночи, в беспокойные порывы ветра. Сомнения не было: шёл поезд. Он был километрах в пяти-шести. Звуки то замирали,—поезд проходил ложину, то постепенно усиливались,—поезд приближался, взбираясь на подъём. Лежавшие под деревьями давно определили по звуку: товарный, два паровоза, тяжело гружённый...

— Теперь помчит под уклон, только держись! Готовы ли только наши там?

В голосе молодого командира сквозила тревога за подрывников,—пора уже им отойти от железнодорожного полотна и не мешать в случае чего засаде...

Шум приближающегося поезда нарастал, переходил в грохот. И все мы увидели снопы искр, вылетающие из обоих паровозов, бледный отсвет от раскалённых топок, и чёрные силуэты вагонов, быстро мелькавшие один за другим. Один за другим, один за другим...

И вдруг всё исчезло в жестком багровом свете, и мы увидели, как передний паровоз поднялся на дыбы в огненном смерче. Это длилось какую-то долю секунды.

Всё рассыпалось, распалось в оглушающем грохоте, в громовых раскатах, всколыхнувших, казалось, само небо и землю. Бешеный вихрь промчался над лесом, тяжело загудели сосны и ели, испуганно задрожали трепетные осины, берёзы.

Когда замерло последнее эхо громового раската, слышно было, как надрывно шипел пар и что-то трещало, скрипело, ломалось. В нескольких местах занимались робкие языки пла-

мени, и в их отблеске видно было беспорядочное нагромождение разбитых платформ, вагонов. Среди нескольких уцелевших было два классных. Из них выпрыгивали перепуганные люди, что-то кричали, кто-то вопил истошным голосом.

— Посолить их, нечистое племя. Выдай им соли, Устиныч!— крикнул через плечо командир засады, и сразу же, захлёбываясь, заговорил пулемёт, то короткими, то длинными очередями.

Я взглянул на пулемётчика. Он лежал неподвижно и, казалось, слился с пулемётом, так он прильнул к нему. Дрожали от пулемётной дробы крепко стиснутые кулаки, и жёлтые вспышки выстрелов освещали напряжённое, устремлённое вперёд лицо. Глаза пулемётчика горели каким-то странным блеском. Ожесточение светилось в них. На впалых щеках играла улыбка. Она затухала порой, и тогда шевелились губы и щурились глаза на бесновавшееся пламя. Человек не то пел, не то говорил сам с собой. И в промежутках между пулемётными очередями мне действительно слышались какие-то знакомые слова. Я прислушался. Человек действительно пел, тихо, вполголоса, про себя. Слова пропадали в пулемётной дроби, но в перерывах, в мгновенно наступавшей густой тишине они возникали, звучали знакомой мелодией. Это была детская песенка, простая, наивная. Полная задушевной теплоты, она вызвала в памяти детские личики, клеёнчатые нагрудники, маленькие полотенца с вышитыми эмблемами: белкой, кленовым листком, весёлой птицей воробушком.

Сколько раз мы слышали эту песню в детских хоровах — в детских садах и домах, в младших классах школ. В песне говорилось о письме Ворошилову, о Красной Армии... И когда раздавались её слова, так естественно, казалось, было

видеть детские лица, голубые и тёмные глазёнки, стремительный мяч, неуклюжего мишку с протёртым носом...

Эта песня была так не к месту, так не вязалась она с кровавым заревом пожара, с захлёбывающимся пулемётом, что когда всё кончилось,—где-то недалеко уже взвивались сигналами о бедствии ракеты немецких патрулей, и партизанам была дана команда отходить назад, в лес,—я тронул за рукав пулемётчика.

— Послушайте, товарищ!

Он не услышал моего вопроса, а командир группы тихо сказал мне на ухо:

— Не надо, не трогайте его.

Он догадался, о чём хотел я спросить у пулемётчика.

Занимался рассвет. Мы пробирались гуськом по глухой лесной тропинке. Утомлённые партизаны лишь изредка перебрасывались скупыми словечками. Только один убеждённо уговаривал соседа:

— Чудак ты! Пойми, сколько танков одних сожгли да пушек. Чем же плохо?

— Всё же мало... Мало...—недовольно повторил пожилой человек, высвобождая застрявшее в корпусе невищах колесо пулемёта. Во всём его облике, в движениях, в походке ничего не осталось от того пулемётчика, который подпевал ночью своему пулемёту. Лицо осунулось, посерело, усталые глаза близоруко щурились на бледную полосу зари.

Мы с командиром засады шли позади, и он рассказал мне простую историю этого человека.

...Мальчику было лет пять, может быть, меньше. Он стоял, доверчиво протягивая ручонки. Синие

глаза светились просьбой, и вся его маленькая фигурка тянулась вперёд, к этому капризному мячу, который может так славно прыгать по траве, а потом вдруг сорваться куда-нибудь в сторону и катиться, катиться, катиться.

— Отдай, дядя, мяч!

Румяное личико хмурилось, мальчик нетерпеливо переступал с ноги на ногу, оглядывался по сторонам, — а может быть, придёт кто-нибудь на помощь. Но этим ребятишкам не до него. Они только что играли в партизаны и теперь, взволнованные, разгорячённые, уселись на груде камней и, стараясь перекричать друг друга, поют песню. Их почти и не видать отсюда из-за густой крапивы и кустов малины. И маленькая подружка его тоже побежала к ребятишкам, поёт с ними песню. Песня весёлая-весёлая. И такая громкая. Вспугнутые песней воробьи вспорхнули стайкой, закружились над старым клёном и все вместе дружно шарахнулись вниз, расселись на камнях, на кирпичках, на обломках стен. Раньше тут была школа. Когда бомба убила тётю Веру, тогда не стало и школы. Школа тоже упала. Тетя Вера хорошо пела, хорошо пели дети. Теперь нет тёти Веры.

Детское личико кривится, морщится, вот-вот польются слёзы.

Это мой мяч, отдай, дядя!

Офицер смотрит непонимающе на этот круглый предмет, который толкнул его, отпрыгнул, потом подкатился под ноги.

Офицер пьян, еле держится на ногах. Его сопровождает патрульный солдат, он же и переводчик.

— Что это? — невнятно спрашивает офицер у солдата.

— Мяч, господин лейтенант, детский мяч.

Офицер поднимает мяч и всматривается мутными глазами в красно-синие полосы, что-то силится вспомнить. Взгляд его бессмысленно скользит по лицу ребёнка. Мяч, детские кудри, и на лице офицера готово появиться некое подобие улыбки, он вспоминает о чём-то напряжённо и мучительно. Не иначе эта песня мешает вспомнить. Эта песня... Он прислушивается к ней, настораживаются. Затем взгляд его устремляется в другой конец улицы и сразу проясняется: на маленькой площади городка солдаты вкапывают столбы, утрамбовывают землю вокруг. Всё это так понятно и просто.

— О чём поют?— коротко бросает он солдату.

— О Красной Армии, господин лейтенант... Но это детская...

— Огонь, мерзавец!— исступлённо кричит офицер и в приливе ярости выхватывает из рук замешкавшегося почему-то солдата его автомат.

Мяч на земле. Спотыкаясь, бежит к детишкам мальчик, испуганный диким криком.

Очередь автомата коротко обрывается.

— Никогда не дадут отдохнуть...— устало бормочет пьяный офицер и идёт своей дорогой. Солдат натягивает каску на самые уши и, стараясь не глядеть по сторонам, идёт за офицером, старательно и пугливо принаравливая свой шаг к неуверенной поступи господина лейтенанта.

Шумной стайкой унеслись с пустыря воробьи. Несколько листьев, падая с клёна, медленно кружатся над землёй. Громкие стоны, испуганные детские голоса, чьи-то тревожные вопросы, шопотом:

— Что такое? Что такое? Наповал? Пятеро убито? А ранено?

Из школьной сторожки торопливо выходит человек и, задыхаясь, жадно хватая воздух широко

раскрытым ртом, бежит на пустырь, обжигая руки о крапиву, сбивая о кирпичи босые ноги.

— За что? За что!— Он падает на колени.

Вот и его двое. Старший. А вот и меньший— лежит, раскинув ручонки. В русых кудряшках запуталась божья коровка, всё пробует взлететь, топыря красные чешуйки надкрылий. Человек увидел мяч, идёт к нему, поднимает.

— Вот и мяч твой, сынок мой... Ну, как же мы с тобой теперь будем... Вот и поиграть теперь с мячом некому...

Человек сидит окаменелый, и в потухших глазах его тускло переливается трепетный багрянец солнечного заката.

Потом приходит солдат и, тормоша его за плечо, настойчиво приказывает итти в комендатуру. Он идёт, автоматически переставляя негнущиеся ноги. Он будет говорить, он о многом скажет, о многом, о страшном. И он говорит там. На него набрасываются, кричат.

— Вы, го-сподин учитель, забываете, где живёте! Вы распустили детей! Вы...

Нет, он помнит о детях.— Какая же распушенность? Там и мои дети были,— слабо защищаясь, говорит он.

— Тем хуже для вас! Вы плохой учитель и недостойный отец!

Как они кричат на него. И потом уже спокойно говорят о каких-то обязательствах, ежедневной регистрации, о невыезде...

— Да... да... да...— впадая в забытьё, говорит он и тут же спохватывается. О чём говорят они ему?

Детей похоронили ночью. Долго стоял человек с заступом, всё что-то обдумывал. При бледном свете луны увидел он часового, медленно прохаживавшегося взад и вперёд по улице. Заступ был

очень тяжёлый. Видно, на него налипла земля, сырая, непросохшая глина. И когда тень часового приблизилась к дереву, под которым стоял человек, железо заступа тяжело опустилось на голову солдата.

Устало, пошатываясь, зябко поёживаясь от ночного холода, человек пошёл пустырём, огородами к болотцу, заросшему мелким кустарником.

Измученного, полубезумного Устиныча подобрали в лесу партизаны.

Вечером мы видели Устиныча на опушке леса у импровизированной партизанской кузницы. Вместе со стариком-кузнецом он мастерил специальную тележку для немецкого пулемёта, снятого с подбитого танка. В ход были пущены колёса не то с комбайна, не то с другой какой-то машины. Всё сооружение получилось довольно солидным и внушительным.

— Ну, как орудие, Устиныч?— полушутливо, полусерьёзно обратился к пулемётчику командир отряда, такой же пожилой человек, как и он.

— Орудие как орудие,— в тон ему ответил Устиныч.— Бу-у-дет петь.

Из-под русских бровей блеснули живые глаза, и в их взгляде и во всём облике этого человека, несколько нескладном и мешковатом, было столько уверенности, столько глубокой внутренней силы, что хотелось сказать вместе с ним:

— Да, будет петь.

Мне вспомнилась ночь, вспомнились рассказы о других делах бесстрашного пулемётчика, и я понял весь сокровенный смысл тех коротких слов, обронённых им ночью, в лесу, в засаде.

„Мало... мало...“ Он говорит о тех, кто оборвал так безжалостно жизнь его детей, оборвал их детские песни.

Эти песни ещё не допеты.

## СВАДЬБА

Стремительная, захватывающая, неслась навстречу, ложилась под копыта коней дорога. Относило по ветру пушистые гривы, хвосты. Струной натягивались вожжи, клонились навстречу берёзы, пыльные вербы, испуганно взлетали с придорожных сосен вертялые сороки. И только чёрный ворон, взмахнув порядка ради крыльями, важно восседая на камне близ дороги, медленно поворачивал голову, косил глазом на проносившиеся мимо тройки. Всё гремело, пело, гудело. С гиканьем, свистом, с весёлым перезвоном бубенцов сливались звуки гармонии. Отчаянно взвизгивали скрипки. Мелькали в конских гривах разноцветные ленты, парусом надувались вышитые рубахи, пестрели цветистые полотенца у сватов и дружек.

Высоко, высоко взлетала песня, подгоняемая бесшабашными бубнами:

Не плачь, не плачь, Марилька, слёз не лей —  
Погляди на сватов веселей.  
У твоих же сватов богатые хаты:  
Небом крыты еловые латы...

Передней тройкой правил дед Архип. Хмурясь на солнце, он изредка оборачивался к невесте. Невеста была как невеста: в белоснежной фате, с венком на голове, с букетиком восковых цветов на груди. Она держалась в меру чинно, крепко хваталась за сиденье на крутых поворотах и часто

подмигивала деду густо подведёнными глазами. Дед, покосясь на непомерно пышную грудь невесты, ожесточённо сплюнул.

— Эх ты, лихо комариное, не соблюди пропорцию! Ну, ну, побалууй у меня!— набросился он на пристяжную, все норовившую ослабить постромки, перехитрить сварливого деда.

— Я те, жулика, научу, я те, нечистая сила!..— И, привстав на передке, дед изо всех сил стегнул лошадь и завертел над головой концами вожжей:

— А ну, ну! Ле-е-ти, золотые!

Телега рванулась, бешено помчались кони, свадебный поезд летел в грохоте, в пыли, оглушая прохожих бубенчиками, колокольцами, разухабистой песней, гармонью. Волнистой скатертью расстиралось вокруг просторное поле, посеребрённое паутиной.

Впереди уже махал отчаянно винтовкой немец-патрульный и растерянно жался в сторону, с трудом соображая, что же ему делать в этом не предусмотренном ни одной инструкцией случае.

Уже подъезжали к околице села. Выскакивали на дорогу ребятишки, с криком мчались за телегами:

— Свадьба едет! Свадьба, свадьба!

Выбегали вслед за ними бабы, девчата. Выходили из ворот немецкие солдаты и понимающе подмигивали друг другу:

— Рус женится...

Заслышав бубенцы, вышел на улицу и кое-кто из офицеров, снисходительно посмеиваясь, щуря глаза из-под вспотевших очков на шумный, пёстрый свадебный поезд, так неожиданно ворвавшийся в тихую сумрачную деревню. Передняя тройка круто развернулась на всём скаку и стала, как вкопанная, у церкви, против самого штаба. Даже присели кони, осажённые крепкой рукой ста-

рого Архипа. И, приподнявшись на передке, дед гаркнул во всё горло:

— Музыку, свадебный марш!

И странное дело: как будто наперекор команде затихла гармонь, умолкли бубны, только звенели ещё бубенчики на нескольких тройках, зачем-то метнувшихся в боковую улочку, на огороды. Мгновенно наступившую тишину пререзала густая резкая дробь пулемёта. Пулемёт бил с передней тройки, прямо из-под сиденья невесты. И вдруг разорвали воздух гулкие, тяжёлые взрывы,—несколько метко брошенных гранат разнесли, разворотили крышу и стены штаба. Уже ввязались в дело автоматы, винтовки.

Мчались по улице бабы, девчата; ребятишки, как воробьи, кинулись врассыпную по дворам, по подворотням. Бросая винтовки, сбрасывая на ходу мундиры, бежали по огородам немецкие солдаты с пепельно-серыми лицами. В их оловянных глазах застыл ужас перед этими пёстрыми лентами и бубенцами, перед всеми этими людьми в таких мирных праздничных костюмах. Но бежать было некуда. Прямо наперерез им неслись по огородам страшные тройки.

Пулемёты уже умолкли. Только частили ещё автоматы да изредка били винтовки. Над огородами, над ближним полем, через которое пробовали пробраться к лесу отдельные немецкие солдаты, несло тягучее, стонущее:

— Ай-ай-ай!..

Успевший выскочить из штаба подполковник бросился было бежать вдоль улицы. Заметив сго, невеста мгновенно выпрыгнула из телеги и, забыв о всяких приличиях, высоко подобрав подвенечное платье—под ним оказалось добротное галифе и довольно вместительные сапоги,—коршуном бросилась вслед офицеру. Миг, дру-

гой,— и невеста сцепилась с бегущим. Дед Архип даже глаза прищурил от страха за невестины уборы. Подвенечная фата летела клочьями, сбился набок венка, высокая грудь невесты вдруг неожиданно сползла вниз и очутилась на дороге. Дед даже крикнул от обиды:

— Господи, боже, вся краса гибнет даром! Говорил же чорту — привяжи покрепче... — и, передав лошадей подвернувшемуся парню, старик засеменил на помощь невесте. Но та уже вела навстречу ему подполковника, вывернув и крепко зажав ему руки. Дед посмотрел на неё с укоризной, хозяйственно подобрал на дороге невестины груди — мешочки, аккуратно набитые сеном,— и только потом уже старательно связал верёвкой подполковничьи руки. Ещё во время стычки с подполковником случился грех, и дед неприязненно крутил носом, зло выговаривая ему:

— Германия, говоришь, велика твоя, а оправиться, чорт поганый, и места не нашёл... Всю амуницию искалечил... — и сурово приказал посадить пленного командира карательного отряда подальше, на самую последнюю тройку, „чтоб не портить музыку“.

Бой давно кончился. Сортировали по тройкам пленных, грузили захваченные трофеи, оружие, ящик с документами. Невеста успела окончательно разоблачиться, сдать деду подвенечное платье, клочья фаты. Дед растерянно разглядывал остатки свадебного убора,— платье было разорвано, одного рукава вовсе не хватало. Затем, решительно отстранив всё это рукой, сокрушённо сказал:

— Так что ты уже сам, Данила, отдавай моей бабе её наследство. Не я надевал, не я рвал... Поди, поговори теперь с ней, это тебе не

с немцами женихаться...— и, грустно вздохнув, взялся за вожжи.

— По ко-о-ням!— подал команду Данила, партизанский командир.

Лёгкой рысью пустились в обратный путь.

На нескольких тройках затащили весёлую свадебную:

Поедем, свагики, до дому, до до-о-му:

Поели коники солому, со-о-лому...

Свадебный поезд не спеша возвращался домой, в лес.

## ДЕД ЕВСЕЙ И ПАЛАЖКА

Когда у старой ели раздавался пронзительный женский голос:— А боже мой! А горе ты моё ходячее! Да не лезь ты, ради Христа, к печи, не с твоей головой блины печь!— тогда партизаны понимающе улыбались друг другу:

— Опять дед Евсей в наступление пошёл...

Дед был как дед: и года почтенные, и на ухо немножко туговат, и слабоват глазами. Но несмотря на свои семьдесят почти лет, был он ещё подвижной, весёлый и говорун, каких поискать. Последнее обстоятельство и помогло ему, как говаривал он, пришвартоваться к отряду. Подходящей вакансии для него не находилось, но дед был мастер на уговоры:

— Ты, товарищ командир, не сомневайся, ты не смотри, что года мои будто бы в отставку вышли. Я, брат, матрос с военного корабля... В японскую, бывало, стою у орудия... Тут тебе снаряды, тут тебе торпеды, тут тебе вода хлещет, тут тебе...

— Хорошо, хорошо...— И деду дали должность: приставили к тётке Палажке, помогать ей на

кухне. Тут сразу же и началась баталия. Дед твердо решил установить свой порядок в землянке, где помещалась кухня. То ему не нравилось, как Палажка жарит лук. То ему казалось, что она не так заправляет кашу. То он яростно боролся за чистоту и даже смастерил специальные подставки для ложек, чтобы они не валялись где попало, а были бы всегда на месте и сухие.

— Каждая снасть должна быть на месте, как на корабле. Ещё в японскую, когда был я матросом на военном...

— Ты, матрос, возьми-ка лучше ведро да вынеси помои!

Худшего оскорбления нельзя было придумать, и тут начиналась страстная дискуссия:

— Что ты понимаешь в военном деле?

— Мне понимать не нужно... Ты вот возьми лучше за ведро!

— Нет, я тебя спрашиваю, что ты понимаешь в военном корабле? Я, брат, не одну благодарность получил за свою боевую службу... Я георгия имел за свои боевые раны... Гляди, какие рубцы остались на животе...—И дед расстёгивал пояс, чтоб показать Палажке свои раны. Но та, стыдливо отвернувшись, замахивалась на него кружкой:

— Вот ошпарю кипятком, так будешь знать, как перед чужими бабами заголяться!

— Тьфу, ты, нация бабская! Ты к ней, как человек, а у неё своё на уме. А ведро всё-таки я не понесу. Ты мне не начальник. Я, можно сказать, на равных правах с тобой, а может быть, и повыше над тобой... Что у тебя? Горшки да половники. А под моим распоряжением военный конь ходит!

— Какой же это конь?—измывалась Палажка.—То ж кобыла немецкая, да ещё хромая!

— Что же, пусть себе и кобыла... Животная-то ведь воинская!

— Воинская! Нашёлся мне воинский начальник над воинской кобылой!

В ответ на новое оскорбление дед бросался в последнюю атаку:

— Помолчала бы, затируха несчастная! Вот кто ты!— Торжественно покинув землянку, он отвязывал от сосенки свою „воинскую животную“, обычную трофейную коняку, на которой возил воду для кухни, и уводил её пастись в лес.

В землянке долго ещё не могла успокоиться Палажка, считавшая страшным оскорблением слово „затируха“, хотя эту нехитрую затируху она стряпала для отряда почти каждый день. Она долго возилась у горшков, потом решительно раскрывала свой сундук, доставала праздничный платок и, повязавшись им, шла в штабную землянку. Шла грозная, нахмуренная. Дед, обычно следивший за ней в такие минуты из-за кустов, сплёвывал:

— Вот же лютая нация, опять ябедничать на меня пошла...— и загонял свою коняку поглубже в лес.

А в землянке, заранее зная о цели визита тётки Палажки, мягко выпрашивал её командир:

— Опять?

— Опять, товарищ начальник! Нет мне с ним жизни... Или я, или дед!

— Зачем же так, тётка Палажка? Он же такой, кажется, тихий и славный дед.

— Угу! Нашли тихоню. Это не дед, а чистая ехидна! Нет на него угомону, в каждое моё дело свой нос суёт... Вчера, что скажете, надумал олады печь: сколько муки перепортил, сала!

А потом как рассердился, как напал на меня!.. Он меня, извините,— и тут голос тётки Палажки стал тихим-тихим,— он меня за-а-тирухой обозвал...

— Эге-э! Это уже серьёзное дело! Но, и вы, тётка Палажка, должно быть тоже его чем-нибудь допекли? Вот вы его воинского звания не признаёте... А он ведь как-никак бывший матрос, вояка.

— Ему только на печи тараканов гонять! Воя-а-ка!

— Ну, хорошо. Идите, тётка Палажка, готовьте обед... А мы уж найдём как-нибудь управу на него.

Но найти управу на деда было не так-то легко. Тот старался не попадаться на глаза командиру, а когда, наконец, случайно встречался с ним, то, услышав от него про обиды тётки Палажки, сразу взвизывал на дыбы:

— Или я, или Палажка! Не буду я дед Евсей, если стану терпеть от этой нации...

Неприятность росла и принимала грозные размеры: уже Палажка однажды тайком от деда загнала его кобылу в болото, так что дед с ног сбился, разыскивая свою „животную“, и проклинал её норовистый характер. Так ни с чем и вернулся.

— Нашёл?— хитро спросила Палажка.

— Где ты её найдёшь,— растерянно буркнул он.— Это же не кобыла, а — прости ты боже! — чистый Гитлер... Только и смотрит, чтобы вред какой причинить.

— А не пасётся ли твой Гитлер у трёх дубков?— ехидно переспросила тётка Палажка.

— А ты откуда знаешь?— встрепнулся дед.

— Да ребяташки, видишь ли, говорили.

— Ребяташки,— передразнил дед, догадавшись,

наконец, о её кознях.— У-у, нация! — и побежал за лошадью: пора было ехать за водой.

Неизвестно, во что вылился бы этот конфликт между дедом Евсеем и тёткой Палажкой, если бы не произошли некоторые события, не только примилившие, но и сделавшие их великими друзьями.

Случилось это под вечер. Только запряг Евсей своего Гитлера в пожарную бочку, чтобы выехать за водой на озеро, как из кухни вышла Палажка и заявила:

— Я тоже с тобой.

— Очень ты мне нужна, — недовольно фыркнул дед.

— Бельё надо выполоскать. Одной боязно как-то.

— То-то! — удовлетворённо крикнул дед и, торжественно взгромоздившись на бочку, важно натянул вожжи.

— Но-но! Шевелись, Ермакия!

Озеро было километрах в четырёх от лагеря. Оно подступало к самой дороге, по которой проезжали иногда немецкие обозы, и дед всегда брал с собой автомат, осторожно придерживая его, чтобы он, сохрани боже, не пальнул раньше срока.

День был жаркий. Гитлер лениво помахивал хвостом, дед Евсей и совсем было задремал на своей бочке. Так, без особых приключений и добрались они до озера. Но едва выбрались из кустов на берег, как тётка Палажка стремительно рванулась к деду и, чем-то напуганная, начала теребить его за рукав:

— Дед, дед! Не видишь, что ли? Куда едешь?

Глянул дед и схватился за вожжи, чтобы скомандовать Гитлеру задний ход да податься назад в кусты. Даже тихонько тпрукать начал,

но где ты дотолкуешься с этим проклятым животным, не понимающим христианской команды: Гитлер тянул прямо к берегу. Тут дед кубарем слетел с бочки, тихо крикнув Палажке:

— Спасайся в кусты, пока не поздно! Иначе — пропали мы, пропала и кобыла.

Секунда, другая — и дед утратил бы окончательно свой воинский вид. Но, очутившись за ольховым кустом, он осмотрелся, окинул взглядом озеро, берег, дорогу. Дорога была пуста, никого не видно было и на берегу. Гитлер забрался в озеро вместе с бочкой и спокойно потягивал воду, лениво отмахиваясь от слепней. И только на самой середине озера, где было поглубже, шумно барахтаясь, купались трое немцев. Заметив Гитлера с бочкой, они встревожились, о чём-то заговорили между собой, и один из них поплыл к берегу. Дед глянул в ту сторону, куда спешил немец, и сразу догадался: недалеко от него висели на кусту три офицерских мундира. Тут же лежали сумки, пистолеты, автомат. Секунда, другая, и дед, — как сам он потом говорил, — сразу же определил диспозицию вражеских сил и стал на боевой курс. Выйдя из-за кустов на берег и угрожающе наведя автомат, он так грозно рявкнул: „Руки вверх“, что даже Гитлер жалобно заржал и испуганно запрядал ушами.

— Вылезай, нечистая сила! — а сам всё ближе да ближе к одежде и пистолетам. Торопливо оглянулся и крикнул в кусты: — Если ты, Палажка, ещё тут, то беги кустами по берегу, следи, чтобы не сбежали, сохрани боже, на тот берег!

— Они же голые!.. — раздался неуверенный голос Палажки.

— А ты не гляди на естество, ты, знай, пугай! Пусть думают, что нас тут целая дивизия...

Немцы, один за другим — правда, не слишком

охотно — вылезли на берег и под дулом автомата выполняли все приказы, которые при помощи энергичных жестов отдавал им дед Евсей.

Через какие-нибудь полчаса отдохавшие в лагере партизаны заметили необычную процессию. Впереди медленно двигались трое голых немцев. На некотором расстоянии от них грозно шествовал дед Евсей, ни на секунду не опуская автомата. Следом за ним, стыдливо отворачиваясь от пленных, тётка Палажка вела Гитлера, держа в руках вожжи и целую охапку офицерских штанов и мундиров. За спиной у неё неуклюже болтался немецкий автомат. Пустая бочка — воды набрать так и не успели — звонко тарахтела за Гитлером.

Заметив командира, дед ловко подошёл к нему и отрапортовал:

— Так что вернулись из боевой операции. В плен взято три офицера. Потерь не имели. — И дед Евсей так торжественно взял под козырёк и прищёлкнул каблуками, что хохотавшие партизаны все сразу вытянулись, словно по команде.

Дед сдал пленных. Вскоре партизаны увидели, как за столом в землянке важно восседал дед Евсей, а напротив него — тётка Палажка. Она заботливо угощала деда затирухой:

— Кушайте, кушайте, Евсей Иванович, я ещё вам подолью!

— Премного благодарен вам, Пелагея Семёновна! Готов вечно кушать из ваших деликатных рук эту бесподобную... — Тут дед явно зарпортовался, чуть было не сказав „затируху“, но быстро нашёлся, — это бесподобное ваше блюдо... — И, вздохнув, добавил: — Вы действительно достойная женщина, Пелагея Семёновна! Храбрость у вас всегда на месте...

— Что вы, что вы, — смущалась польщённая

Палажка,— вот вы, Евсей Иванович, вы — ну просто настоящий воин!..

К всеобщему удовлетворению, в кухне навсегда установились мир и порядок.

А дед Евсей с того дня, когда говорил о каких-нибудь событиях, всегда обстоятельно указывал:

— Это было за два дня до того (или неделю спустя после того), как мы с Пелагеей Семёновной выезжали на боевую операцию.

И важно покручивал седой прокуренный ус.

## АСТАП

Весна выдалась дружная и тёплая.

И хоть снег держался ещё в лесах, хоть по ночам можно было легко пройти по хрустящему крепкому насту, солнце пригревало с каждым днём всё сильнее и сильнее, потемнели ложбины, первые проталины зачернели на полянах, прибрежный лозняк стал гуще, заиграл нежными переливами красок, сизых, лиловых.

Необыкновенно торжественными казались деревья в густом бору, они сбросили снеговые шапки и уже не были такими угрюмыми, как зимой. Каждое дерево стояло в круглой лунке-проталине, словно дышало дерево, и под его дыханием оттаял снег до самой земли, до прошлогодней тёмнобурой травы. Кое-где в низинах привычным ухом можно было уловить еле слышное журчание невидимых ещё ручейков. Днём разливалась вода по болотам, за ночь она покрывалась льдом, и утреннее солнце так жадно и с такой страстью вглядывалось в это ледяное зеркало, что оно начинало подтаивать, окутывалось лёгким прозрачным паром, который постепенно превращался в тёплый густой туман.

Всюду стоял острый запах горьковатой лозы и талого снега.

В один из таких дней партизаны-разведчики пробирались болотом через лес. Вспотевшие кони осторожно переступали по успевшему уже подтаять льду, поводили ушами, прислушиваясь к шороху прошлогоднего камыша, к шелесту ивняка да журчанию воды, иногда вырывавшейся фонтаном из-под копыт. Передний конь вдруг захрапел, переступая ногами на месте, словно намереваясь повернуть обратно. Всадник прикрикнул на него, натянул поводья, но, ничего не добившись, легко соскочил на лёд.

— Ну-ка, хлопцы, проверьте — видно, что-то неладно там...

Группа спешила, и несколько человек пошли вперёд, осторожно пробираясь по хрупкому льду. В густом лозняке они заметили серую фигуру человека. Он лежал среди чёрных пней, вцепившись рукой в жёсткую траву. Полы порыжевшей рваной шинели и ноги в стоптанных сапогах вмёрзли в лёд. Под шинелью был старый залатанный ватник. Серые куски ваты выбивались из-под заплат, а в груди у него торчала деревянная рукоять ножа — видимо, охотничьего, судя по резьбе. Лицо человека было обращено к небу, в глазных впадинах лежали мокрые льдинки. Рядом, под кочкой, лежала шапка-ушанка, такая же рваная, как и вся его одежда.

Партизаны сняли шапки, молча окружили мёртвое тело. Им не раз приходилось видеть страшные следы зверских преступлений, но эта смерть — сиротливая и одинокая — была не совсем обычной: у неё и свидетелей не было, видели её только серые кочки, поникший лозняк да угрюмое зимнее небо. Человек погиб, видно, ещё зимой и за это время успел покрыться льдом.

— Лютую смерть принял человек,— вздохнул один партизан.

— И кто бы это мог быть? Наш брат-партизан? Боец ли, убежавший из плена? Бедняга заложник?

— Кто бы он ни был, нужно дать приют его праху... По всему видать — наш человек...

Люди засуетились вокруг в поисках жердей или сучьев, чтобы смастерить носилки и перенести покойника в более подходящее для погребения место. И тут заметили другого мертвеца. Возле низкорослой сосенки, на пригорке, лежал старик. Седая обледенелая борода его словно срослась с узловатыми корнями ёлки, которые виднелись из-под разрытого мха. Старика заметили не сразу: одет он был в белый колушок, а вокруг было ещё много снега. Колушок весь был иссечен пулями и кое-где пропорот штыком или ножом. На виске зиял чёрный пролом — то ли от удара прикладом винтовки, то ли ещё от чего-нибудь.

И здесь один из партизан, который внимательно вглядывался в почерневшее лицо покойника, с ужасом вскрикнул:

— Боже ты мой, да ведь это дядя Астап! Дядя мой...

И все вспомнили деда Астапа, лесника из Березнянки, припомнили рассказы о том, как ушёл он в лес с пришлыми, незнакомыми людьми в самом начале зимы, когда начались морозы. Ушёл — и пропал, а людей тех с того времени никто не видел.

В тот день колхозники только что вернулись из лесов, где они скрывались от немецких карателей. Некоторые нашли вместо своих хат ещё

тёплые пепелища. Не нашёл своей хаты и дед Астап. Не нашёл невестки и двух маленьких внучат. Соседи сказали ему, что они сгорели в избе, что их загубили немцы.

От всего двора осталась только старая, обгорелая груша. Снег успел запорошить её ветви, и показалось деду, что он видит прежнюю грушу, в аромате цветенья, в пчелином гуде. Но это лишь показалось ему, показалось на одно мгновение. Сильный и крепкий ещё человек, он как-то сразу ослаб ли, прислонившись к обгорелому стволу, закрыл глаза. Перед его взором возникли светловолосые головы, детские улыбки, синие глаза. Внуки взбирались к нему на колени, тербели бороду, ласкались, просили:

— Расскажи, дед, страшную сказку!

— Нет, не стану рассказывать вам страшную сказку...

И он глубоко вздыхал, но, спохватившись, тут же спешил обрадовать их:

— Расскажу вам лучше весёлую...

И он рассказывал про хитрого ёжика и мудрого дятла. Рассказывал про золотого шмеля и его диковинные палаты в высоко заросшей мхом кочке. И голос деда гудел по-шмелиному. Засыпали внуки и сквозь сон спрашивали:

— А скажи нам, дед, где татка теперь?

— Далёко татка, не видно его за войной... Вы вот засыпайте, и кто скорей уснёт, тому татка приснится.

Он относил спящих детей на кровать, сам раздевал их, и невестка всегда в таких случаях уступала ему свои права. Как же, его питомцы! — как ласково называл он внуков.

„Уснули внуки... Не видать им уже ни татки, ни деда, ни зелёной груши. А те, кто убил их, остались живы... И дети их тоже живы...“

Эта мысль вывела его из забытья. Он снова видел пред собой пепелища. Морозный ветер раздувал золу; под ней кое-где слабо тлели золотистые угольки. Падал сухой колючий снег, синели под ним головешки, обволакиваясь тоненькими струйками пара. Дед Астап встретился, крепкий мороз давал себя знать, совсем окоченели ноги. Едва разгибая их, сутулясь, он пошёл вдоль улицы, бесцельно заходил в хаты, молча садился, так же молча выходил. Его не утешали, так много горя было у людей, и так велико его горе, что лучше было дать человеку пережить его наедине с самим собой, дать развезть его по дорогам и тропинкам. И он ходил и всё думал свою думу: как найти меру святой человеческой мести? Здесь же возникла другая мысль: при чём же здесь дети?

...В полдень к деревне подошла длинная вереница людей.

Было даже удивительно, как добрались они в такую метель. У некоторых были забинтованы головы — то ли пораненные, то ли обмороженные. Одежда у всех была на редкость оборванная, залатанная — сплошные лохмотья. Некоторые прихрамывали. Лица у них были худые, вытянутые. Они ходили под окнами, стучали в стёкла, и передний, с перевязанной рукой, жалобно допытывался:

— Братцы, отзовитесь, коли есть в хате живая душа!

Из-за деревни подходили новые группы таких же хромых, оборванных, у некоторых из них были винтовки, автоматы.

Крестьяне выходили на улицу. Собиралась толпа. Человек с перевязанной рукой всё спрашивал: — Братцы, а у вас немцев случайно нет?

Ему никто не ответил. Неразговорчивыми были люди в этот день.

Молча показали они на пепелища: кто-то скупо добавил:

— Были... Слепой, и тот увидит их следы...

— Ах, боже мой, боже!..— жалобно причитал человек с перевязанной рукой.— Не дай бог понасть им в лапы... А мы вот,— и он показал здоровой рукой на окружавших его людей и понизил голос,— только что убежали из Пережирского лагеря. Охрану перебили и убежали... Боже мой, боже, убежали!..

Лица у крестьян просветлели. Все слышали о Пережирском лагере, о его страшной славе. Глаза у женщин сразу стали теплей, приветливей.

— Чего же вы стоите на морозе? Заходите в хаты да обогрейтесь. Может быть, нужно,— тьфу, что там говорить, ну, конечно же, нужно,— и поесть вам, не слишком вас кормили эти... Чтоб им по земле не ходить!

И несколько торопливых голосов смешалось в один общий:

— В самом деле, заходите...

— Поделимся, чем придётся...

— Чем богаты, тем и рады...

— Этаким мороз, а они дрогнут на улице...

Но человек с перевязанной рукой прижал руку к сердцу,— весь загорелся, расплылся в улыбке.

— Нет, нет, нет... Братцы родные! Любые вы мои!.. Если бы можно было, век бы с вами жили! Да не можем, миленькие, даже на минуту остановиться. Захватят нас здесь проклятые,— горе нам будет, да и вас они не помилуют. Спешим мы к партизанам, вот где наша дорога, да только, как назло, не знаем мы этой дороги. Заблудились вот, сбились с пути... Вот и решили у вас спросить: свои ведь люди, помогут, выведут...

Крестьяне сразу насупились, приумолкли.

— Нет... Не знаем мы партизан... И дороги к ним не знаем.

А некоторые из них отделились от толпы, стали молча расходиться по домам.

Тогда человек с перевязанной рукой бросил наземь шапку-ушанку и, прикрывая ладонью лицо, затрясся, как в лихорадке, и он не говорил, а глухо выкрикивал:

— Душегубы вы, а не люди — простите мне, родные, за моё обидное слово. Что же им вот, несчастным, помирать теперь? От тех, проклятых, убежали, а через своих погибнем. Погибнем, все до единого погибнем...

Он дрожал, как осиновый лист, и синий рубец на его обнажённой голове стал от мороза ещё темнее. Человек плакал, прикрывая рукой глаза.

Среди женщин послышались всхлипыванья. Некоторые взволнованно подталкивали друг друга локтями. Кое-кто из мужчин смущённо крякнул и отвернулся. Дед Астап глядел на всех рассеянным взглядом, словно думая о чём-то своём, потом шагнул вперёд и спокойно проговорил:

— Не пропадать в конце концов людям... Я проведу... Знаю.

Подняв воротник колушка, он пошёл впереди толпы незнакомцев. К ним присоединилось ещё много людей, которые ждали их за деревней. Крестьяне расходились по домам. Кое-кто из них возмущался поступком деда: леший их знает, что это за люди, ни одного знакомого. Другие молча одобряли поступок Астапа: доброе это дело, человека в беде выручить.

А толпа тех прохожих всё удалялась от деревни и скоро совсем исчезла за снежной пеленой метели.

Высокие сугробы легли поперёк дороги, и люди двигались гуськом, ступая след в след. Сухо шуршали заиндеветшие ветки придорожных берёз, скрипели сосны. Ветер бешено налетал на деревья, словно сиюсь повалить их, трепал их вершины, дико завывал в ветвях и швырял в путников целые охапки снега.

— Ну и погодка!— вымолвил человек с перевязанной рукой, поправляя воротник шинели.— Не иначе, как черти свадьбу справляют.

Он оказался разговорчивым и весёлым. Несмотря на метель и на больную руку, он засыпал деда вопросами; всё допытывался, скоро ли конец пути, как там, у партизан.

— Когда-нибудь да придём, а там сами увидите,— неохотно отвечал дед Астап, чаще всего отделяваясь нехитрыми словами: „Нет, не знаю... Сами увидите...“

А человек всё не унимался: сколько партизан, да как они там, вместе или отрядами, да хорошо ли они воюют, да есть ли у них хорошее оружие...

— Хорошее оружие?— обернулся Астап и искоса взглянул на своего спутника.— Не считал я; однако, на немцев хватит... А хорошо ли они воюют? Ты спроси, человеке, у немцев, они это знают. А если не они, то ихние спины... Однако и язык же у тебя, не прогневайся, словно колотушка... Да что там колотушка, словно помело у старой бабы, аж пыль столбом из-под него...

Человек с перевязанной рукой улыбнулся.

— Я ж ведь на радостях, милый. Со своим человеком, да не поговорить...

— Язык простудишь,— вот и вся твоя радость кончится...

И дед Астап замолчал. Замолчал и человек

с перевязанной рукой. Они шли лесом, и хотя здесь порывы ветра были слабей, но снега навалило видимо-невидимо. Люди еле вытаскивали из сугробов ноги, то и дело проваливались по пояс. Прошли уже километров десять — пятнадцать. Некоторые так вспотели, что расстегнули шинели, а иные даже снимали их и несли на руках. И странное дело: никто из этих людей больше не хромал — куда подевались бинты, перевязки! Под старыми, рваными шинелями оказались добрые колушки или мундиры. Эти мундиры были почему-то немецкие.

Дед Астап искоса присматривался к ближайшим своим спутникам. Сквозь завывание метели до него доносились отдельные слова, но он не понимал их: люди говорили по-немецки. Когда они выходили из деревни, редкий из них нес оружие, а теперь каждый шёл с винтовкой или автоматом. Прочетил Астап даже несколько пулемётов.

Хотя всё это и беспокоило Астапа, вид у него был такой же невозмутимый и шёл он не торопясь, легонько опираясь на берёзовую палку. А недоброе он ещё на полпути почувствовал.

Он шёл и сам даже не знал хорошо, сколько ещё придётся пройти, когда наступит конец этому пути. Подкашивались ноги от усталости, судорожный кашель разрывал грудь. Всё чаще приставал к нему с одним и тем же вопросом человек с перевязанной рукой:

— Да скоро ли мы доползём, наконец, чорт бы взял эту проклятую дорогу!

— А ты не торопись. Туда... всегда успеешь добрести, — и дед Астап карабкался через сугробы, пробираясь сквозь густую чащу.

Вскоре они выбрались на обширное болото, поросшее мелким сосняком и кустами лозняка. На-

двигалась ночь. Итти стало легче, вьюга вымела снег до самого льда, до промёрзшей земли. Но холодный ветер валил с ног, пронизывал до костей своим свирепым дыханием. Шедшие за Астапом люди остановили человека с перевязанной рукой, о чём-то расспрашивали его, по-своему, по-немецки. Один (видно какой-то начальник) всё показывал рукой на Астапа. Те, что стояли сзади, терли уши, побелевшие щёки, попрыгивали, чтоб согреться как-нибудь на этом ледяном ветру. Дед Астап следил внимательным глазом за ними из-под заснеженных бровей и едва заметно усмехался.

Человек с перевязанной рукой обернулся к Астапу:

— Они спрашивают...

— Кто они?

— Ну наши... спрашивают, не заблудился ли ты.

— Скажи: нет.

— Они ещё спрашивают, нет ли здесь подходящего места для ночёвки?

— Нет, нету...

— А долго ли ещё итти?

Астап задумался на минуту.

— Скажи: недолго... Ещё с полчаса, не больше.

Человек с перевязанной рукой глядел на него холодным взглядом. На его побледневшем лице перекатывались желваки, и весь он стал каким-то острым, колючим.

— Ты... не врешь мне, старый чорт?

— Что ты, душа ласковая! Зачем мне врать? Если не верят, пускай сами идут. Очень мне интересно мучиться здесь с вами. Так и скажи этим самым... вашим.

— Ты дураком не прикидывайся! Смотри у меня! — уже злобно крикнул человек в рваной

шинели и угрожающе замахал кулаками перед самым дедовым носом. Куда делась перевязка, даже тряпка, на которой висела больная рука, отлетела в сторону.— Шкуру сдеру в случае чего вот этими самыми руками. Гляди!

— Чего мне глядеть? Не зеркало ты, вижу... Однако же быстро рана твоя зажила, человече... Но тот замолчал.

Пошли дальше. Темнело. Совсем измучился дед Астап, подгибались, ныли колени от долгого пути. Он обернулся к своему спутнику:

— Слушай ты, ласковая душа! Спросить у тебя хочу...

— Ну?..

— Ты же нашинский человек, говоришь вот по-русски... Наших кровей человек?

— А тебе что?

— Да мне ничего... Просто спросить у тебя хочу: почему это ты исхудал так? Или это от харчей,—видать, неважные они у тебя... Или мало платят эти... ваши...

— Ты что плетёшь?—потянулся к Астаповой бороде человек в рваной шинели. Он трясся, как в лихорадке, бледный, оторопевший.

— А ты не горячись. Не твоя борода — не твоя забота. Я хочу с тобой спокойный разговор повести. Всё же любопытно... Сколько человек крови выпил, а всё худеет. С чего бы это? Ты скажи мне, ласковый человек, сколько платят тебе за душу человеческую? За стариковскую, как моя? За горькое дитя? Или за всех оптом берёшь?

Оборванец всё тянулся к горлу старика, но Астап, который в молодости одолевал медведя, легко отталкивал его и, придерживая за руку, всё говорил:

— Вот, не хочешь ты разговаривать со мной,

не хочешь отвечать... Жизни ты моей хочешь, крови моей, блоха собачья! Слабоват ты для этого, слабоват... Лопнешь от натуги, а меня тебе не взять. Подохнешь ты, как лёс, и они подохнут, подохнут, голубок, некуда им деваться. Ты задушил с ними внуков моих, деток моих... Но сыны мои бьют вас, племянники бьют, народ вас бьёт... Ну, ну... Не кричи ты у меня, не вертись ужом! Никуда ты не убежишь, и они тебе уже не успеют помочь. И я не допущу, чтобы умер ты человеческой смертью... Душу ты мою обманул, проклятый, жалостным словом её провёл... Эх, господи, благослови!

Охотничий нож, который всегда носил с собой старый лесник, ловко скользнул в руках Астапа, и „ласковая душа“ с хрипом повалилась на кочки.

Дед Астап подался вперёд, сделал несколько шагов к небольшой сосенке, сиротливо темневшей впереди, и здесь его окружили, набросились на него, словно стая голодных волков. Он умер тихо, молча, принял смерть как торжественный, до конца исполненный долг свой перед людьми.

Вьюга бушевала всю ночь и весь день и позаметала до самой весны все следы на болоте. И долго ещё весной, да и летом, находили партизаны трупы людей в дёржавых шинелях, в лохмотьях, под которыми были немецкие мундиры с солдатскими и офицерскими погонами. Этих людей никто не убивал. Они умерли сами в ту вьюжную ночь, когда разбрелись по болоту, по лесу, ища выхода из ледяной могилы.

Когда вывозили тело деда Астапа, хлопцы хотели перевезти и труп человека в шинели, но один из партизан узнал в нём начальника окружной полиции... Ещё раньше ходили слухи, что

этот душегуб и палач пропал без вести, но никто не мог точно сказать, при каких обстоятельствах и где это произошло.

По охотничьему ножу партизаны узнали и о том, кто помог им избавиться от этого выродка. Труп душегуба оставили на болоте.

Стоял погожий весенний день, когда хоронили деда Астапа. Солнце заливало светом вершины стройных сосен, согревало пригорки, и над полянами и чёрными проталинами возле землянок партизанского лагеря поднимался лёгкий пар. Гроб с покойником стоял на высоком помосте, украшенном еловыми ветками. Дед лежал спокойный, суровый, словно всматриваясь в прозрачную голубизну неба, где, казалось, вот-вот запоют первые жаворонки, светлые гости весны.

Вокруг стояли, обнажив головы, партизаны. Всклипывали женщины, толпились грустные, притихшие девчата с венками из еловых веток в руках. Угрюмо и торжественно выглядели удалые хлопцы из почётного караула.

Проститься с дедом приехал командир отряда. Коренастый, приземистый, — гнулись ступеньки под ним, когда поднимался он на помост, — командир подошёл к гробу, печально покачал головой:

— Рано, Астап, ты выбрался в дальнюю дорогу. Рано... Славно ты жил, славно и умер за людей наших...

Отгремел прощальный салют из винтовок.

Деда похоронили возле реки, под огромной вековой сосной.

Отсюда видны бескрайные луга и поля на том берегу. Необозримые леса стерегут покой Астапа. А когда выше поднимается солнце на небе, расцветают вокруг лесные цветы и самой первой расцветает сон-трава. Когда отцветает её неж-

но-синий зябкий цветок, тогда жизнь открывает все окна, все двери в лесах, зеленеют луга, появляется клейкий лист на берёзе, первые травинки-былинки пробиваются сквозь прошлогоднюю листву, и в зелёном цветении весны начинает запевать свою извечную песню вещая птица-кукушка.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Салют . . . . .	3
Поцелуй . . . . .	17
Васильки . . . . .	36
Детский ботинок . . . . .	42
Ирина . . . . .	49
Кусок хлеба . . . . .	56
Недопетые песни . . . . .	63
Свадьба . . . . .	71
Дед Евсей и Палажка . . . . .	75
Астап . . . . .	82

---

Редактор Э. Кульманова  
Подписано к печати 5/VI 1944 г.

А-7867 Тираж 10 000. Зак. № 34 3 печ. л. 3,8 уч. авт. л.  
Цена 2 руб.

6-я тшп. треста „Полиграфкнига“ ОГИЗа при СНК РСФСР,  
Москва, 1-й Самотечный пер., 17.